



Дизайн автора

МАНЬЯК

Повесть

У сих свадьбу творят,
а у других мертвеца плачутся.
Изборник 1076 года

Ночь первая

Ровно в двенадцать ночи я начал спуск. В это время она заканчивала принимать ванну. Через минут пять она появится в своей спальне в шелковой, золотистого цвета пижаме. Она сядет на круглый пуфик перед зеркалом и, пристально глядя на себя, будет расчесывать волосы с потемневшими от воды кончиками. У нее серьезное, почти строгое лицо, и видно, что мысли не отпускают ее. В квартире она одна. Я узнал о ее существовании лишь неделю назад, и вот уже третий раз отправляюсь к ее окну. Сегодня воскресенье – вернее, уже понедельник. На стене я проведу час-полтора – завтра я работаю.

Этот дом я облюбовал прежде всего потому, что двумя стенами он обращен в парк, к деревьям, откуда в этот поздний час меня никто не увидит. Фонарей в парке нет. Ночь теплая, в ней еще слышится дыхание только что миновавшего августа, первой опавшей листвы. Вообще, август и сентябрь – мои любимые месяцы, когда тепло и темно. Я жду их целый год, готовлюсь к ним, усовершенствуя свою технику. Я, конечно, могу бродить по стенам в любой сезон – холодной зимой и в слишком светлую пору весны и лета, но конец лета – начало осени – это для меня звездное время. Моей экипировке позавидует любой альпинист. На нее я трачу добрую часть зарплаты. Основное мое требование к ней – легкость, прочность и компактность. Большая часть моих спусков или восхождений проходит без страховки. Мизерного заработка старшего библиографа, а я работаю в Государственной публичной библиотеке, на это, естественно, не хватило бы, и время от времени я подряжаюсь на различные высотные работы, когда хотят сэкономить на лесах: крашу стены, спускаясь на дощечке, кладу на высоте двенадцатого этажа отвалившуюся плитку, залезаю на проржавевшие купола церквей. В городе меня в этом качестве знают и зовут, когда нужно. Но никто не знает о моем хобби.

Стена еще теплая. Потравливая лавсановую веревку, я спускаюсь в петле, пропущенной сквозь кольца на моем поясе. На стене у меня нет соперников – я тут хозяин. Но, как и в дикой природе, есть у меня и естественные враги – бомжи, живущие на чердаках и испытывающие какой-то патологический интерес ко всякого рода веревкам, да ночные балконные курильщики. Поэтому стена с балконами и лоджиями для меня – зона повышенного риска.

Я невысокого роста – 167 см. Но Михаил Барышников еще ниже. Между прочим – это рост Пушкина, которого традиционно считают маленьким. Видимо, из-за Натальи Гончаровой, которая по тем временам была просто дылдой – 174 сантиметра. Я русский, широкоплечий, с узкой талией и легкими ногами. Руки – мое главное оружие. И еще – отсутствие страха высоты: для меня все равно, где жердочка, по которой надо пройти, – на земле или на высоте десятиэтажного дома. В детстве я лучше и быстрее всех лазил по деревьям. Но больше всего я любил лазить по развалинам, в старых ремонтируемых домах... Однажды я чуть не погиб... Тогда подо мной

рухнул в пролет целый лестничный марш, и я чудом остался жив, зацепившись за перила лестничной площадки, повисшей на арматуре...

Два самых сильных и несбывшихся желания моего детства – быть невидимкой и уметь летать. Хождение в ночное время по вертикальной стене – это все, чем я смог заменить в подлунном, железобетонном мире свои золотые грезы.

Вот и ее окно – я приспускаюсь ниже, так чтобы моя шея была на уровне карниза и... утыкаюсь в тяжелую малиновую штору, которой она завесила всю ширину трехстворчатой рамы. В панике я быстро перебираю ногами, смещаясь к левой стороне, но там между косяком и краем шторы – лишь узкая щель, слишком далекая от меня, чтобы прикинуть и расширить угол обзора. Итак, сеанс окончен. Мне трудно пережить крайнее разочарование, и я готов стучать в стекло, открывать форточку, залезать на балкон... Но, слава богу, у нее нет балкона – балконы здесь через два этажа, и можно только подивиться идиотизму архитектора, расположившего их так по своей эстетической прихоти. Впрочем, допускаю, что идиотов тут было два: он плюс экономист, или даже три – оба они плюс Советская власть, которую я вспоминаю без ностальгии. Дом совковый, панельный, начала семидесятых, когда строили очень много и очень плохо, зачастую оставляя щели между панелями в палец или даже в руку толщиной, которые я по заказу жилконтор затыкаю паклей и замазываю до сих пор.

Зачем она зашторила окно – ведь за ним никого и ничего... кроме меня и тьмы. Чем мы ей помешали? Или сегодня она не одна? Кровь ударяет мне в голову. Как, по какому праву?! Как же я это упустил? Или надеялся, что она всю жизнь будет одна садиться перед зеркалом, а я, затаив дыхание, смотреть? Я перебираюсь к кухонному окну, но оно занавешено и темно. Я подтягиваюсь к открытой форточке на почти неслышно стрекочущем ручном подъемнике – хитрая система шестеренок позволяет почти не тратить при этом усилий – и жадно вдыхаю тихо веющий в лицо воздух женского жилья, пытаюсь уловить в нем слабый аромат ее духов, растворенный в запахе кожи, влажного полотенца, только что обнимавшего ее, льнувшего к ней в самых сокровенных местах, или хотя бы мыла, которым дышит сейчас ее омытое свежее тело. Где та вода, что жемчужными струйками разбегалась по ее шее, ложбинке спины, плечам и груди и снова собиралась у ее таинственного лона в прозрачный нервный жгутик, сладко вздрагивающий от соглядатайства и приобщенности к тайне? Тот жгутик – это я... Нервы мои напряжены до предела и мне срочно нужна разрядка. Иначе я сойду с ума.

Словно из мести, я бросаюсь на поиски другого окна, которое, пусть лишь условно, заменит мне окно моей неверной возлюбленной. Я перебираю интимные подробности чужих жизней, словно листаю, забравшись в детстве под одеяло с фонариком, толстую дореволюционную книгу с картинками под ошеломляюще-бесстыдным названием «Мужчина и женщина»... Там, в теплой пещерке собственного мира, я испытал самые восхитительные коитусы, которые потом уже никогда не повторились.

...На десятом этаже голая двенадцатилетняя девчушка изучает себя, стоя задом к трюмо и опустив голову между коленей. Что она там видит, мне неизвестно, потому что зеркало – боком к окну, за которым я подзавис, но я легко могу себе это представить. Однако сцена оставляет меня глубоко равнодушным – нимфетки не в моем вкусе, – и я спешу дальше, к еще освещенным окнам. На том же десятом муж и жена средних лет лежат по разные стороны огромной супружеской постели – у каждого свой ночной столик, свой светильник – читают, спиной друг к другу. Для этих секс – в прошлом. В лучшем случае, они время от времени громоздятся друг на друга, чтобы избавиться от зуда в чреслах. Если бы мне предложили за ними понаблюдать, я бы попросил плату и желательно вперед. На девятом мне попадает сцена позанятней – два юнца лежат в обнимку, закатив глаза, в ушах – черные раковинки наушников: накурились или нанюхались, поймали друг дружку и теперь оттягиваются на музыкальной волне. Нирвана... Голубых не терплю. Наконец на шестом этаже – крайнее окно слева, мне попадается примерно то, чего и хотелось. Одинокая миловидная женщина лет сорока в фиолетовой сорочке на тонких бретельках, без трусиков, грустно мастурбирует на старинный манер, многожды запечатленный художниками, – зажав между ног подушку. Она придерживает ее левой рукой, как мужской зад, правая же – между ног... и видно, что рука эта ее давняя верная подруга – не предаст и не подведет, хотя чудес и волшебных превращений от нее ожидать и не приходится.

У меня два варианта – испытать оргазм прямо здесь, на стене, обрызгав ее на память опаловым фонтанчиком низменной страсти, или же открыть окно, тихо войти и спокойно изнасиловать жертву, зажав ей рот рукой. Можно и соблазнить, но для этого потребуется больше времени, а мне завтра с утра на работу. В разное время мне хочется разного. Сегодня я оскорблен и отвергнут ради кого-то – месть моя будет стремительна. На несчастье или счастье сорокалетней дамы, у нее есть балкон – дверь в комнату, окно на кухню. Я неслышно перелезаю через перила, отпускаю конец веревки, дергаю за другой, и она, перелетев через блок, оставленный на крыше то ли строителями, то ли кровельщиками, поднимавшими в бадье свою смолу, возвращается ко мне, – легко, как капли воды, простучав по перилам балкона. Звук этот не привлекает внимания моей сегодняшней избранницы, которая, похоже, уже всерьез увлечена воображаемым партнером. Пора в него воплотиться.

Я решаю начать с кухни, точнее, с коридора, в котором темно и глухо – лишь там, где двери в туалет и ванную – слабый блик света из щели под дверью в комнату. Надо срочно чем-то пошуметь, а то она там кончит без меня и будет потом вялой, как размороженная пикша. Я останавливаюсь возле вешалки, на ощупь снимаю что-то вроде плаща и прямо с плечиками бросаю на пол. Звук негромкий, но явственный под названием «что-то упало». Может быть включен в каталог звуковых файлов компании «Микрософт». Дверь в комнату открывается, и я вижу силуэт своей избранницы – в одной короткой сорочке, доходящей ей до голых бедер, линии которых мне безотчетно приятны. Настороженно вытянув вперед шею, она идет к выключателю возле входной двери, но тут же спотыкается о свой плащ, поднимает его – я делаю шаг и, оказавшись за ней, правой рукой властно хватаю за талию, а левой накрепко закрываю рот.

Ее придушенный крик уходит в мою ладонь, а тело дергается, будто прищемленное в мышеловке. Она может сейчас потерять сознание, и, чтобы этого не случилось, я прижимаю горячими губами к ее уху и тихо безостановочно говорю. Почти неважно что. Голосом можно творить чудеса.

– Простите меня, мадам, что испугал вас, – говорю я. – Но вам нечего бояться. Я не насильник и не вор, я просто несчастный человек, который пришел просить у вас милостыню любви. Дайте ее, и ни один волос не упадет ни с вашей головы, ни с вашего лона. Разве мы с вами не одиноки? – Голос у меня – вкрадчивый баритон с бархатными низами и гибкими модуляциями. Выражаюсь я старомодно, велеречиво, как три мушкетера Александр а Дюма и рыцари круглого стола короля Артура. Я воспитан в лучших домах и исповедую культ Прекрасной Дамы. От меня пахнет дорогим одеколоном «Минотавр», перемешанным с молодым мужским потом – увы, трудно не вспотеть на стене, – и если мне позволят раздеться, я продемонстрирую великолепный торс мужской фотомодели с обложки модного дорогого журнала для женщин.

Наконец избранница перестает биться в моих руках, и по ее движению я чувствую, что она хочет вступить в диалог. Я отпускаю ее рот – не талию, которая по-прежнему в капкане моей железной руки, – и слышу:

– Кто вы такой, что вам нужно? – судя по голосу, она смертельно испугана и сбита с толку. Голос у нее вполне интеллигентный, и я облегченно вздыхаю. Поведение интеллигенции, в общем, предсказуемо.

– Ничего, мадам, абсолютно ничего мне не нужно, – отвечаю я, – ни золота, ни бриллиантов. Ни жизни вашей. Я не насильник и уважаю чужую свободу и право выбора. Если вы мне скажете уйти – я уйду. Но прежде прошу вас меня выслушать. – Меня разбирает смех от собственных слов, и я едва сдерживаю улыбку.

– У меня нет золота, – говорит она. – Уходите, я не хочу вас слушать. Я позову милицию.

– Это совершенно невозможно, мадам, – говорю я. – Я не дам вам сделать ни шагу... – Рука моя быстро опускается с талии и оказывается у нее в промежности – приятно горячей и кудрявой.

– Ай! – тихонько вскрикивает женщина, и этот беспомощный вскрик жертвы привычно и безотказно возбуждает меня. Теперь она понимает, что мне нужно, и ее трясет, будто под током.

– Вы не смеете, вы не смеете! – повторяет она свистящим шепотом, обхватив руками мою беззастенчивую руку, пытаясь вернуть себе то, чем я завладел. Но в ее движениях нет решительного протеста, и я продолжаю:

– Я бы не посмел, мадам, если бы не видел, как вы занимались рукоблудием. Где ваш мужчина? Почему вы одна? Такая женщина!

– Я не одна. Ко мне должны прийти.

– Никто к вам не придет, иначе бы вы не занимались таким грустным делом.

– Вы – маньяк! – слышу я и охотно соглашаюсь:

– Да, это правда, мадам, и потому советую быть со мной поосторожней. Я сам не знаю, на что способен в минуту гнева.

Тем временем, несмотря на помеху из ее рук, мои пальцы торопливо оглаживают ее пах, теребят мокрый пупырышек клитора, окунаются в смазку ее довольно упругой вагины. Женщина закидывает голову, и я слышу, как у нее перехватывает дыхание.

– Вы меня не убьете? – слышу я и тихо смеюсь:

– Конечно нет, мадам... Если вы не будете шуметь. Знаете правила поведения жертвы? Отдаваться, когда нет иного выхода. Расслабиться и получить удовольствие.

– Вы – не мужчина...

– Это правда, мадам. Я не мужчина – я импотент. Меня возбуждает только то, чего нельзя.

– Я вас презираю...

– Я тоже, – отвечаю я.

Она начинает плакать. Так-то лучше.

Силой я ставлю ее на колени и мгновение жадно изучаю в полумраке коридора ее вздрагивающие от всхлипов небогатые сокровища. Талия у нее узкая, а зад плосковат, и вся его гладкая масса пошла на ширину, но сам переход от узкого к широкому красив. Опустившись, я с удовлетворением тихонько сжимаю его с боков, подправляя под себя, потом достаю свой восставший фаллос и нежно, его головкой, глажу влажную промежность женщины. Она вдруг перестает всхлипать, как бы прислушиваясь к неожиданным для себя ощущениям. Наконец я медленно и властно погружаюсь и слышу ее невольное «ух».

Что такое вагина? Мускулистая трубка, в которой, как поршень в цилиндре, ходит член, вырабатывая, вернее, тратя огромное количество энергии. Почему же она мне так дорога, что я готов на безумства снова и снова?

...Резко выдернув фаллос, так что широкие скулы его головки выбрали из глубины добрую порцию капнувшей на пол смазки, я быстро переворачиваюсь на спину и жадно слизываю ее остатки с прилегающих к незакрывшейся дырочке складок, чуть горчащих, как дымок от палой листвы в осенних садах. В таком положении я довольно уязвим и беззащитен, но женщина и не думает воспользоваться этим – она дрожит, и дрожит, и дрожит, молча, как ученица на уроке маэстро.

И в это время раздался звонок в дверь. Прямо как в знаменитой кинокартине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», вздумай он снять ее, так сказать, сексуальный вариант. Машинально я глянул на свои светящиеся часы – была половина первого: время прибытия загулявших мужей и недогулявших любовников. Но мужья открывают сами... Я сделал резкий нырок от ее беззащитного испуганно-податливого лона к ее лицу, засветившемуся надо мной, как печальная луна, и грозно прошептал, крепко схватив женщину за плечи: «Молчать!». И она – о

Господи, неисповедимы пути Твои! – готовно кивнула мне. Теперь она будет моей верной рабой – я надену ей ошейник и выпущу погулять. Она будет бежать рядом и повиливать хвостом, заглядывая мне в глаза. И за что? За минуту пронзительной ласки, которой она – бьюсь об заклад – никогда не знала...

– Кто это? – оставаясь под ней, уже как хозяин шепнул я.

– Так, один... – повела она небрежно плечом. Плечи у нее были на диво хороши, а под сорочкой круглились не потерявшие форму груди, похоже, не кормившие детей.

Я снизу поддел туда руки и стал тихо катать между пальцами ее еще свежие соски. Женщина часто задыхалась носом и упала мне лицом на щеку. Я запустил левую, мою более энергетическую руку в пряжу ее довольно густых, но нежных, как паутинки, волос и послал луч ослепительного импульса ей в затылок. Не знаю, может, все это мне только чудилось, но после того, как женский затылок оказывался на моей левой ладони, я мог делать все, что хочу. Не помню случая, чтобы было иначе.

Дальше началась какая-то сплошная «Песнь песней», постепенно переходящая в «Вечера на хуторе близ Диканьки», потому что звонок звонил и звонил, и было три варианта – не открывать, открыть дверь и набить морду или открыть лишь на цепочку и объяснить, чтобы не шумел, не будил соседей, а по-тихому уматывал, пока метро не закрылось. Надежда – черт подери, ее звали Надеждой! – так и сделала. Свет она, естественно, не включила и пока она убеждала в шелку неразумного дядьку по имени Володя не валять дурака, я, удобно пристроившись сзади, не избежал искушения воспользоваться другой шелкой. Самое забавное было видеть, как корчилась она перед очами экс-любownika, объясняя свои судороги менструальными болями в паху.

– У тебя ж только было, – оторопел памятный Володя.

– Снова началось, – сделал глубокий вдох по вхождению моего фаллоса, нашлась Надя.

Ночь мы провели в каких-то безумных скачках – со сменой седоков и лошадей. «Ах ты, озорник! Ах ты, проказник!» – счастливо смеялась она, обнаружив изобретательность почище моей. Я вернул ей детство, не сказав только о плате. Рано утром я ушел, не попрощавшись, – лишь взяв с балкона свою экипировку, умещающуюся в маленьком компактном рюкзаке. Впрочем, я обещал на днях зайти. Только и узнала она, что я искатель ночных приключений по имени Матвей, умеющий проходить сквозь стены, и что у меня было несчастливое детство. В свете утренней зари ее спящее лицо утратило одухотворенность, и я с облегчением закрыл за собой входную дверь.

* * *

Я, естественно, не всегда был маньяком, тем более вуайеристом, хотя наблюдение за тем, как занимаются любовью другие, с детства гипнотизировало меня. За собой не наблюдаю – не только, так сказать, пространственно,¹ но и – психологически, потому что секс это, может быть, единственное наше состояние, кроме сна, которое нам неподотчетно, трансцендентно, эзотерично. Есть даже мнение, что секс – это канал, по которому каждый смертный, независимо от звания и количества извилин в двух полушариях, имеет приватный выход к Богу, и что наш оргазм, высшее наслаждение, данное нам на земле, – это и есть выражение любви к Господу, самопожертвование и религиозный экстаз. Для меня в этом что-то есть. Ведь не женщину же мы любим, кончая в нее. В этот миг ее вообще не существует, она исчезает, и вместо нее на том берегу, к которому мы вечно стремимся, вспыхивает Благодать, Блаженство. Интересно, что эти слова, дошедшие до нас

¹ зеркало тут мало что дает

из старославянского, включают в себя обертоновые понятия благого как слабого, плохого, дурного.² Так в живописи порой требуется темный фон, чтобы на нем светилось желаемое.

Вуайеризм – он для продвинутых в эротическом аспекте, не случайно его любят старики. Для них это не зуд угасающих гениталий, а просветленный зов. По мере старения плоти ее эго становится альтруистичным – таков естественный путь к прозрению. Число же прозревших в моем возрасте смехотворно мало – все они записаны в светочи человечества. Потому я и живу пока в грехе, что прошел лишь полпути, данного мне для нахождения истины.

Соитие двоих перед моими глазами – всегда повод стать в нем третьим. Редко мне удается остаться возвышенным, физиологически безучастным, хотя это моя высшая цель. Немошный старик, познающий юную деву гениталиями своего сына, – вот формула продолжающейся жизни. Вперед, мой мальчик, покажи ей, на что мы способны... Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. Кстати, проблемы русского православия в том, что и через тысячу с лишним лет после крещения мы остаемся язычниками.

За рождением Христа, который для меня, безусловно, фигура реально-историческая, явно стоит какой-то темный адюльтер его матушки, сокрытый цензором-евангелистом. Скорее всего, Иисус – бастард, или, по-нашему, выbleдoк, как изволил выражаться о своих незаконнорожденных детях наш национальный гений Александр Сергеевич. Мальчик, рожденный в хлеву от Духа святого,³ несомненно страдал от комплексов. Возможно, неродной отец его даже поколачивал. Откуда еще было взяться столь нечеловеческой силе духа как не из борений с собственной злосчастной судьбой. Не отсюда ли – и его «оставь жену, дом свой, детей своих – иди за мной». Разрушитель семейных уз, он никогда и не любил семью, удовольствовавшись объятиями падшей девки, – для таких, как он, это весьма характерно.

Нужно ли еще пояснять, что он мне близок. Христос – бунтарь-одиночка, а бунтарство в разные времена самоосуществлялось по-разному. Покопайтесь в детстве великих бунтарей, и вы едва ли найдете там хоть одну мало-мальски счастливую семью.

Если я и принимаю христианство, так это за его явную гетерогамиию. «Песнь песней»... – до сих пор удивляюсь смелости духовных отцов, не изъявших ее из Священного Писания. Слышите? – любовь между мужчиной и женщиной священна. Время однополых соитий – это время Сатаны. Но о Сатане как-нибудь в другой раз. Пока же ограничимся демоном бедной Мойбеле из спектакля на сцене одного из питерских драмтеатров. Да, всего лишь этим единственным в своем роде спектаклем, который я им устроил, слегка изменив сценографию центрального эпизода.

Откровенно говоря, меня меньше всего интересовала режиссура, сама концепция, так сказать, и все эти флюиды между залом и сценой, создающие из театрального действия подобие животворного чуда, – меня интересовала лишь главная героиня, вернее, не она, а актриса, играющая эту роль, великолепный образчик женщины-Матери, вылепленный по образу и подобию пышных матрон Рубенса, от каждой из которых было взято только самое лучшее. Вообще-то я Рубенса не люблю, и его целлюлитные телеса с детства вызвали у меня отторжение, но актриса Ома, так ее назовем, самими уже звуками обозначив ее статуарность, была мне знакома еще девочкой по Вагановскому училищу, которое она, как и я, не закончила, причиной чего была ее стремительно проявившаяся к пятнадцати годам избыточная телесность. Посмотреть на ее мегабюст сбегался чуть ли не весь незанятый мужской контингент училища, включая тех из педагогов, которые остались верны прекрасной половине человечества... Бывал там и я, тогда еще непорочный и никого, кроме самого себя, не познавший. Женщина с такими формами просто напрочь переросла балет.

² блажь, блажить

³ как тайком рожали залетевшие от барина деревенские девки

И вот она закончила Театральный институт, и вот она стала актрисой, и как-то я про нее совсем забыл, пока однажды, проходя по Литейному, не увидел ее лицо на афише и не узнал знакомые очертания передних полушарий, естественно, не ускользнувших от взгляда фотографа и дизайнера. Еще не имея никаких задних мыслей, движимый скорее ревнивым любопытством насчет того, как она устроилась в этой послебалетной жизни, что умеет, талантлива ли, я купил билет и посмотрел спектакль, который мне, в общем, пришелся по душе, потому что эта бедная еврейская девушка Мойбеле оказалась из нашенской, маньячной, породы, – то есть законченной нимфоманкой, идентифицирующей свои исконные плотские позы с поисками Бога. Не думаю, что она, девица в добром уме и здравии, действительно не отличила бы Ангела от тощего возлюбленного, который под шумок ангельских крыльев ее периодически имеет.⁴ Значит, хотела не отличать – уж больно сладка была музыка, звучащая из раскрывающихся чресл.

Играла Ома неплохо, хотя артистизм ее проявлялся скорее в пластике и в низких гортанных модуляциях как бы омытого прохладной влагой голоса, чем в собственно психологическом рисунке образа. Ну да мне было неважно, потому что я, как зачарованный, следил за сценическими перемещениями ее бюста, заостренного привставшими сосками, странствующего по Вселенной Моих Чувств. Похоже, то же самое испытывали в зрительном зале все одинаковой со мной ориентации плюс лесбиянки, жертвы негативного, по Юнгу, материнского комплекса. Теперь, уже зрелый, так сказать, выдавший виды муж, я с почти забытым телячьим восторгом взирал на эти божественные груди, понимая божественность, как самое первое, что даруется нам по вхождению в эту жизнь, даруется как утешение за ее жестокость, которая встанет в полном объеме, когда нас однажды и навсегда от этих грудей отлучат.

И я ее захотел. Но она, конечно, оказалась замужем. При таком приданом иначе и быть не могло. Разве что она могла бы выходить замуж ежедневно. Мне же хватило бы и десяти минут в промежутке между двумя замужествами. В общем, я загорелся, а поскольку по гороскопу я Телец, то не собирался отказываться от своей затеи даже ввиду ее абсолютной неосуществимости. Что нам мешает? Только собственная робость. Именно ее мы экстраполируем в будущее и поэтому имеем нулевой или отрицательный результат. Наши комплексы состоят из наших собственных проекций. Попробуйте дуриком, на голубом глазу, закинуть в этот омут самую наглую свою идею, и, уверяю, вам попадется в сеть золотая рыбка. Каждому по вере его – это не шуточки.

И я придумал. Она ведь не нужна была мне всегда, с утра до вечера, и ночью, – доступная, понятная, моя, и больше ничья. Я не собственник. Меня вдохновляет только чужое добро. В ее окно не влезть – там мужик. Само же окно выходит на бессонный Невский проспект – нашли, где жить, пижоны. Я мог бы поиметь ее разве что в подъезде или в лифте,⁵ но в ее старинном доме не было лифта, а было кошачье зловоние и общерусская, несмываемая грязца. Представляете себе соитие на таком фоне?

Короче, я решил сыграть свою роль прямо на сцене. В ту пору спектакль шел с аншлагом чуть ли не каждый день. У моей Омы-Мойбеле, как у примы, замены не было, однако в других ролях, в том числе и у ее любовника, имелся еще один партнер из второго состава. По какому-то провидению мы с ним были похожи, даже примерно одного роста, хотя и разного телосложения.

Чтобы получить беспрепятственный доступ за кулисы, я буквально накануне нанялся рабочим сцены за четыреста рублей в месяц, то есть – за тринадцать долларов по нашим абсурдным временам. Нужно ли говорить, с каким чувством я стоял перед массивной кроватью в светелке Мойбеле...

* * *

⁴ это и есть сюжет пьесы

⁵ это отдельная история

И вот спектакль начался, и я жадными ноздрями собственнически вдохнул присутствие Мойбеле на сцене. Я слышал ее голос, отмечал ее проходы через свет рампы, льющийся в промежутки декораций, – она являлась мне не вся, как из зала, а фрагментарно, как в соитии, – рукой, профилем, голосом, поворотом платья, и тень ее впервые падала на меня, как бы подавая знак. Оставалось выключить из участия ее партнера, но и тут я полагался на естественный ход вещей. От экзотики – подвесить его вместе с декорацией под колосниками, опрыснуть из баллончика слезоточивым газом, залепить рот пластырем и закатать в ковер – я отказался по определению.

После каждого выхода на сцену он смолил сигарету в туалетной курилке – тонкие нервные пальцы, какой-то потусторонний взгляд – там я его и закрыл на внешнюю щеколду, поставленную, видимо, для того, чтобы до зрителей не доносились сантехнические шумы. Свет на сцене померк, и после слов Мойбеле: «Приди ко мне, мой ангел», я явился перед залом на правом краю сцены, босой, как должно ангелу, на верхней ступеньке стремянки, то бишь с самих театральных небес.

Изумление в глазах моей Мойбеле было неподдельным – и вправду, как тут не изумиться? Чудо, даруемое Творцом, как раз в том и состоит, что при всех наших мольбах, даже приходя нам на помощь, сам по себе он остается нематериализуемым. Ома же, вдобавок к вполне тут уместным эмоциям своей героини, была изумлена подменой, как если бы, отправляя в рот ложку с медом, вдруг запоздало, уже в загубной полости, рецепторами языка, реагирующими на горькое, сладкое и соленое, распознала разлившийся там хинин. У нее было полсекунды на оценку ситуации – с отвращением выплюнуть или проглотить, но я так приветливо и твердо улыбался ей, глядя прямо в глаза и не предлагая никаких иных вариантов, кроме своего собственного, что она поверила мне и протянула руки. Что до зрителя, так ведь никто ему и не говорил, что ангел будет только один.

– У Баруткина приступ аппендицита, – шепнул я, когда мы оказались рядом. – Врача вызвали, – добавил я еще раз в удобный момент.

Мы блестяще провели нашу сцену, которая заканчивалась в стоящей тут же фундаментальной кровати, как бы одновременно алтаре Мойбеле... К чести Омы надо сказать, что она прекрасно вписала свою роль в мою и, доверив моей руке свою ладонь, взошла на ложе. Несмотря на нищенскую одежду из костюмерной, она хорошо пахла, как знающая себе цену женщина. Ее разгоряченное игрой большое чистое тело, заботливо обихоженное французским дезодорантом, источало во тьму зала любовный аромат самки, призывающей могучего самца-производителя. Вот я и пришел, Ома, чтобы взять то, что мне причитается. Накрывшись одеялом, мы должны были заключить друг друга в объятия в классической позе, когда партнерша внизу. Что я и сделал, не мешкая впившись в ее губы. Ее руки, бесчувственно обнимающие меня, вдруг замерли, и ее тело, вздрогнув, напряглось подо мной, еще понимая меня в том смысле, что на сцене я, неизвестный ей стажер, практикую по системе Станиславского зашкаливающий суперреализм, которым так знамениты голливудские киноактеры и которому она из-за меня, психа ненормального, должна теперь соответствовать. Вздрогнула она еще и потому, что мой вставший зверь рвался наружу, упираясь ей в мягкий объемный лобок, похожий на подушечку для иглолок. Но и такое с актерами бывает не столь уж редко⁶... Я же стремительно проник левой рукой к ее паху, по причине летней жары и духоты едва прикрытому какими-то хорошо тянущимися кружевами, и поскольку на мне предусмотрительно и вовсе не было плавок, тут же без обиняков вошел, не давая ей опомниться и сомкнуть обширные лядвеи, горячие, как южный полдень. Она была не то чтобы готова – излишней влаги в ней не было, но все же, как истинная женщина, она была готова всегда, потому я легко вошел на всю глубину, получив встречный поцелуй ее шейки матки, и пропустил руки под ее коленями, так, чтобы она не могла разогнуться и оттолкнуть меня. Дивные груди ее, прикрытые под дурацкой еврейской кацавейкой чем-то тонким, батистовым, колыхнувшись, разошлись и сошлись над моей головой, как волны, как облака, как сладкий сон. И хотя, вцепившись мне в волосы, она пыталась вытащить меня на поверхность, я был сильнее.

⁶ какая-то гениальная голливудская парочка по уговору даже натурально поношалась в любовной сцене перед камерой, о чем потом почему-то оба пожалели

Над нами звучала томная музыка соития, мерцал зеркальный шар, посылающий в зал и на задник сцены разноцветные блики, а сам задник, сотканный из мириада мягких иголок-фольгинок⁷ – шевелился и переливался, как мечта, пропуская туда-сюда наши кружащиеся в любовном трансе, слитые воедино тела... Надеюсь, все так и было, только задник остался пуст, потому что я играл на среднем плане, поднимаясь и опускаясь в темной духоте покрывала, с трудом удерживая над собой ее вздрагивающие высоко поднятые, прикрытые сверху ноги, отчего сценический пододеяльный образ всей этой темной скачки должен был производить хоть какое-то эстетическое впечатление. Мне же надо было по-быстрому кончить, как кончают неопытные юноши и уставшие старики, и, распялив ее пышные сокровища, я бешено работал бедрами, шепча ей в ухо, как помешанный: «Помнишь Вагановку... Мальчика... Это я... Люблю, люблю, люблю, люблю...». И слышал в ответ судорожное: «Что ты делаешь? Пусти!», тогда как недра ее, и я это чувствовал, не отторгали меня.

Нет, она не уступила мне, не поделила со мной и толики предложенных ощущений, она сопротивлялась до конца, до того ослепительного мгновения, когда каскадами водопада я полетел в бездну, издав тихий стон смертельно раненного зверя, стон счастья и боли, потому что я знал, что в этот момент теряю оскверненную мной Ому навсегда.

Потом я поднялся с постели, слыша не только гробовую тишину зрительного зала, но и гробовую тишину сцены и всех емкостей, что были за ней – двух ее карманов, колосников, пустой гримерной, даже запертого⁸ туалета, – потому что все, кто был там, торчали теперь здесь, между кулис, гирляндами замерших в шоке голов. Я уже не мог туда вернуться, поэтому пошел прямо в зал, по центральному проходу. Возле самого выхода, обозначенного зеленым огоньком, я обернулся.

Ома сидела на постели, опершись на одну руку, и ее распущенные волосы едва прикрывали полуобнаженную грудь. Она не замечала этого, она смотрела мне вслед и весь ее потрясенный вид женщины, которую бросили, оставили на волне восходящего катарсиса, говорил: «Куда же ты? Как же я теперь?»

Не знаю. Я никогда этого не знал.

Никакого скандала по сему поводу не было. Зал же принял произошедшее за чистую монету – это было время, когда эротика и обнаженка, как сель, хлынули на сцену и никто ничему не удивлялся.

Ома меня не искала. И о том, что на самом деле случилось между нами, скорее всего не сказала никому. Когда она через девять месяцев родила, я подумал, что от меня.

* * *

Сегодня на службе, помогая какой-то томной студентке с копной тяжелых черных волос, я наткнулся на Юнга, машинально открыл его книгу об архетипах и коллективном бессознательном, и аж дыхание перехватило. Он написал, что образ Полифила, окруженного нимфами, восходит к одной из самых древних и глубоко укорененных в человеческом сознании фантазий. А ведь это – мои подростковые грезы, когда я не знал ни Юнга, ни Фрейда, блуждая потерянными одиночкой по лабиринтам своих эротических видений. Главное из них – небольшое пространство, задрапированное нежным алым шелком, так что его полотнища реют свободными концами там и тут. Среди них медленно танцуют полуобнаженные девы в таких же шелках, и я – счастливый – вместе с ними. Почти сцена из балета «Аполлон Мусaget» в постановке Михаила Фокина – только вот какими все-таки средствами передать томление поющих чресл?

⁷ местечковый парафраз на тему знаменитого занавеса из „Гамлета“ в Театре на Таганке

⁸ или уже открыли?

Не помню, кто из древних философов – Демокрит? – с облегчением сказал в восьмидесятилетнем возрасте: «Наконец-то этот зверь перестал меня мучить». Катастрофа! Еще пятьдесят лет быть на поводу? Сколько раз я обращался к Господу Богу: «Сделай так, чтобы я не хотел. Обрати в смиренного Агнца». Нет ответа.

Все мои любовные истории развивались по сценарию вычитания: не получилось, не произошло. Получалось же то, что, в принципе, меня не интересовало: собачья случка, с заклиниванием в конце – когда я смотрел в другую сторону, но не мог тут же убежать. Хотя поначалу каждый раз мне казалось, что теперь-то все будет иначе...

Однажды вечером она прошла под моими окнами, и я увязался за ней, точнее, за ее походкой – столько там было скромного достоинства, юного азарта и доброго нрава. Она не была девственницей, но ее женский опыт ограничивался лишь одним олухом, который успел сделать ее фригидной.

Когда я впервые привел ее домой и, с трудом преодолев ее деревенское сопротивление,⁹ алчно, но нежно погрузился в нее, она сокрушенно призналась, что ничего не чувствует. Еще примерно месяц я терпеливо разжигал в ней огонь, по веточке подбрасывая хворост и сосновые шишки, чтобы она наконец поднялась высоким страстным костром, на котором я и стал сжигать ее два раза в неделю. Она тогда училась в Кульке – так назывался Институт культуры имени Крупской – и подрабатывала на почте, разнося газеты и письма. Вечером по вторникам и пятницам – в ее смену – я приходил за ней на почту и уводил к себе. Еще не раздевшись, распахнув полы пальто, как демон – крылья, я прижимал ее к себе, спускал с нее джинсы, трусики и, обежав языком горячую мокрую пещерку ее послушного рта, тайком любовался в большом зеркале прихожей ее смуглой живой попкой, словно вылепленной Бенвенуто Челлини для эротических утех. Моя рука жадно бродила по ней, исследуя подробности, и я завидовал руке и этому зазеркальному образу, который был идеален, как бы вещь в себе, но, увы, оставлял меня лишь на пороге моих запредельных порывов.

У нее, псковской русачки, была смуглая кожа, и она сама шутила, что без татарского нашествия тут не обошлось. В ее шафранной подпалине рдела роза с крупными лепестками, за которыми во время любовной гимнастики открывался алый, словно раскаленная печная дверца, вход. Там тоже что-то обещалось – Геенна Огненная, Огонь Пожирающий, Агония Огня, Агни-Йога, но, углубившись, я вместо всеобновляющего ожога получал все те же влажные всхлипы плоти, телесные судороги и обморок в конце, который я не раз нечаянно пропускал, продолжая распинать уже бесчувственное тело.

И все-таки я хотел на ней жениться – верная, страстная, бессловесная, родственники далеко – и даже устроил в нашу библиотеку в отдел внешних связей, или сношений, как изволил шутить ее шеф, мой коллега. Иногда, не дождаввшись вторника или пятницы, я тайком прибегал к ней на третий этаж и, заперев служебную дверь, набрасывался на ее послушное тело. Лучше всего это получалось на столе, и, чтобы у нее на спине не оставалось синяков, мне приходилось контролировать ее конвульсии. Но мне этого было мало, и, посадив ее голую, дрожащую, что-то безумно шепчущую, на корточки, я продолжал, уже рукой, терзать ее распустившийся цветок – и он без устали стрелял мне в ладонь бартолиниевой стружкой, как хамелеон языком. Такое могло длиться долго, и порой я уже не знал, хорошо это или плохо, что моя тихая и приветливая подружка, готовая за меня в огонь и воду, превращается в неведомое существо из каких-то древних мифов, откуда она не сразу возвращалась ко мне, – я же тормозил ее, расспрашивал, заглядывал в ее еще не видящие, распахнутые, как у куклы, глаза, будто надеясь увидеть в них отсвет иного – обетованного – мира, куда мне почему-то был заказан вход.

Расстались мы через год и довольно болезненно. Она никак не могла взять в толк, что накучила мне со своими вечно мокрыми от обильного секрета простынями и полетами, в которые так и не смогла взять с собой. Ей, бедняжке, пришлось даже побывать в Бехтеревке, после чего

⁹ почему-то она не могла быть передо мной голой

уволиться. Последний раз я ее видел минувшей весной – уставившись в никуда, она продавала журналы с женскими головами и издали показалась мне одной из них, словно тело ей отсекали.

Ночь вторая

Я потерял отца, когда мне было пять лет. Видимо, вместе с ним я потерял возможность стать полноценным мужчиной. Мой отчим – стодевяностосантиметровый мустанг-производитель, в прошлом довольно известный артист балета, типа Джона Марковского, с которым в восьмидесятые годы выступала Осипенко, растоптал мое детство, а потом мою юность. Что было до него, я помню смутно – всего несколько мгновений с отцом, но все они озарены светом, добром и маминой улыбкой. Помню, как мы возвращались втроем из гостей – уже на лестничной площадке нашего дома я услышал, как по радио гремит гимн Советского Союза, и пришел в полный восторг – до полуночи я еще никогда прежде не бодрствовал. Помню салют на Неве, себя на папиных плечах и тысячи кричащих голов на фоне аспидного неба, с громом и треском раскалывающегося на разноцветные вспышки огней... Помню... Впрочем, какое вам до этого дело? Ведь я помню и другое. Как однажды, в первом классе, я заболел, и по ночам у меня были галлюцинации, и однажды я не выдержал и пошел в спальню, от которой меня почему-то отлучили, когда умер папа. Дверь в нее была приоткрыта, и в приглушенном свете от красного абажура я увидел на постели мою маму, а сверху титана-отчима, который что-то с ней делал. Я думал, что он ее мучает, – она стонала и металась под ним, а он ее не отпускал. Ее белые ноги были широко раздвинуты, как у курицы, которую мы недавно вместе покупали по пути из школы, а между ними безостановочно ходили вверх-вниз бесстыдные ягодицы моего отчима, на которых почему-то были мамины прекрасные руки.

От ужаса я лишился дара речи и замер, не в силах сдвинуться с места. Потом отчим, прорывав как зверь, отлепился от мамы, потянулся к сигарете на тумбочке, сел и закурил, а мама вдруг прильнула к нему с благодарной улыбкой, несоответствие которой тому, что я сам минуту назад видел, прогремело во мне какой-то навсегда непоправимой катастрофой. Став взрослее, я расшифровал свое тогдашнее впечатление – так жертва улыбается своему палачу.

С тех пор больше всего в жизни меня стала занимать тайна человеческих отношений, интимных прежде всего, – и чем больше я в нее проникал, тем меньше верил людям, тому, что они говорят, показывают и пишут. «Это все обман, – говорил я себе. – Не обман лишь то, что ты видишь про них сам». Так я стал соглядатаем. Сначала это было моим капризом, потом стало страстью, потом маниакальным психозом, паранойей.

Мне часто снится, что на моей совести несколько убийств, никем не раскрытых, и они мучают меня в моих недолгих снах – сплю я четыре-пять часов, не больше. Мне снятся места, где закопаны мои жертвы, снится, как строители случайно открывают один из моих страшных кладов, – он присыпан ржавой жухлой листвой, и труп еще не разложился и, стало быть, может вывести на след. Мне снится, что круг следствия все сужается и сужается, но каждый раз я просыпаюсь прежде, чем меня поймают, и, значит, в следующем сне все начнется сначала. На самом же деле я помог умереть лишь одному старику, развращавшему в своей поганой холостяцкой квартирке, забитой порнографическим хламом, пятнадцатилетнюю сдобную девчушку, которой он заплатил. Я надел резиновую маску монстра и постучал в стекло. Видимо, у него случился инфаркт...

Не скрою, чем дальше я захожу в своих поисках новых чувств, тем чаще меня искушает инстинкт палача, но мне не нравится вид крови – по этой причине я избегаю девственниц, – и если говорить о моем садомазохизме, то он скорее психологического свойства. Безграничная власть над человеком – вот, что пьянит меня. Но для этого ведь совсем не обязательно убивать. Я имею в виду – физически... Иногда я себя ощущаю всемогущим Бэтменом, человеком-летучей мышью, защитником слабых и обиженных.¹⁰ Иногда – изгоем, горбуном Квазимодо из Нотр-Дама, внешние стены которого я бы легко прошел на руках и ногах, без веревок. Иногда – булгаковским

¹⁰ Женщин, – добавил бы я, потому что мужчины сами должны себя защищать.

Воландом. Но не реже посещает меня и ощущение собственного ничтожества. Тогда я не поднимаюсь на стену, а лежу лицом к ней в квартире, которую снимаю. Там я прохожу точку своей очередной смерти, а потом встаю и живу дальше. По причине своей ночной профессии я не пью и не принимаю наркотики, даже кокаин. Одно неточное движение может стоить мне жизни – а жизнь я, в общем, люблю и, можно сказать, дорожу ею.

Истории, случающиеся со мной, иногда по несколько месяцев не дают мне покоя, но в конце концов уходят куда-то, в безопасное беспмятство. Так что совесть моя не очень обременена – не больше, чем у библейского бабника царя Соломона, на перстне которого было написано: «И это пройдет».

Однажды, едва спустившись с крыши на чей-то балкон, я попал на свадьбу, вернее, на ее окончание, когда последние из гостей уже делали молодоженам ручкой. Жених сидел в торце опустевшего стола, положив голову на тарелку, – что называется, отдыхал, а невеста, бойкая, кровь с молоком, девица рабоче-крестьянского помета, тоже изрядно поддатая, но в разуме, как верная жена-выручалница выпроваживала последних свидетелей жениховского конфуза. Я почувствовал себя охотником за дичью и затаился. Я сидел и ждал: подо мной были пять хрущевских этажей и дворик с чахлыми деревцами, надо мной – небо с мохнатыми, как подсолнухи, августовскими звездами, во мне же самом, если продолжать аналогию с Кантом, – никаких нравственных законов... Я был абсолютно уверен в себе, знал наперед каждый шаг и испытывал упоение – не столько от перспективы обладать очередной девицей, пусть даже в редком ранге невесты, сколько от ощущения тайны бытия, соединяющей вдруг одних людей и разделяющей других. Этой аппетитной матрешечке вскоре предстояло узнать, кто ее настоящий суженый. Пока же, ничего о том не ведая, она тщетно пыталась привести в чувство своего жениха, который, как муха, волокся крыльями нового пиджака по краю тарелки, оставляя свекольный след. Нет, ему не дано было преодолеть этот очерченный волей небес магический круг, в который уже нацелился я. Смирившись, она кое-как перекантовала жениха на диван, подложила под его падающую голову подушку и одна-одинешенька ушла в спальню, в сердцах тут же выключив везде свет. Жадно приник я к ночному стеклу, но ничего, кроме нескольких бледных взмахов свадебного платья, не разглядел. Я подождал еще немного и тихо проник в гостиную. Жених спал, как могила, и я двинулся в спальню. Из нее раздавались всхлипы. Я вошел, скинул все с себя и закрыл на защелку дверь.

Невеста перестала плакать, подняла голову и удивленно спросила:

– Руська?

Мне же понравился ее темный силуэт на фоне заполненного ночными бликами окна.

Я мыкнул в ответ, забрался под одеяло и прижался восставшим членом к ее голому ядренному задку. Он был как два детских резиновых мяча – тугой и гладкий. В одной майке, она хотела повернуться ко мне, но я капризно-пьяно замычал, удерживая за плечи и, пристроившись, вставил, пока не поздно. Там тоже было туго, так туго и упруго, что несколько раз меня выталкивало на поверхность, – такой вагиной можно было бы метать копьей... Юная телочка была малоопытной, но прилежной, и у нас получалось все лучше и лучше. Она кончила раз и два, однако в спине ее ощущалось какое-то растущее недоумение, и вдруг ударив меня задом так, что я чуть не свалился на пол, она села на постели и прорыдала:

– Ты не Руська!

– А кто же? – трезво спросил я, тоже кончив и чувствуя, что больше мне не хочется.

– Не знаю, – трагически прошептала она и вдруг схватила себя за шею, задавив вырвавшийся вскрик, похожий на позыв к рвоте.

В это время в дверь ткнулось что-то рыхло-тяжелое и пьяный голос Руськи глухо сказал:

– Люся, открой, я уже в порядке.

– Руслан и Людмила – цирк! – пробормотал я, почувствовав себя неуютно.

– Ой! – прижав ко рту руки, тихо запричитала рядом со мной поруганная невеста. – Ой, мамочки, что же это!

– Скажи ему, что не откроешь, пока он не прочухается. Тоже мне, жених – надрался до бесчувствия.

– Это не ваше дело. Уходите, уходите скорее. Стыдно вам. Мы не для того вас приглашали. Ой, мамочки, беда-то какая! – Видно, она принимала меня за шаловливого гостя со стороны мужа, какого-нибудь дальнего родственника, троюродного брата.

– Ладно, так и быть, – с притворным равнодушием сказал я, хотя сердце мое как-то горестно сжималось, встал и оделся под мерные вялые удары в дверь и унылые мольбы жениха. Я не видел лица невесты – она моего, и это почти снимало с меня ответственность за происходящее. Ночью все кошки серы.

Я открыл окно и вылез на балкон – оттуда до крыши мне было три шага.

– Пить надо меньше, ребята, – сказал я ей на прощание, чувствуя, что что-то упускаю, но не понимая, что.

– Не на ваши пьем, – стоя в постели на коленях, ответила невеста, уже непоправимо далекая, хотя еще пять минут назад она так простодушно делилась со мной тем, что у нее есть. Похоже, ей было безразлично, каким образом я исчезну – улечу, испарюсь, навернусь с пятого этажа. Лишь бы с глаз долой.

* * *

Вообще набор высоты для меня – это наркотик, эндорфин, гормон наслаждения. Большинство живет и функционирует горизонтально – за таким способом существования десятки тысяч лет закрепленного на практике опыта. Вертикаль – для избранных, для элитного меньшинства, потому что это не только гораздо трудней, но и опасней. Оторвитесь от земли хотя бы на два метра. Чувствуете холодок ниже пупка, точь-в-точь такой же, какой испытываешь в присутствии любимой женщины? Высота – это и есть женщина.

Первую свою стену я прошел в университете, когда учился на филфаке, этой Мекке эмансипированных девиц и субтильных юношей, на первом курсе бредящих о литературной славе, а на пятом – о баксовом местечке в заграничной конторе. Первые в основном невестятся, вторые предпочитают учиться. Вторых маловато, и на каждого приходится по целой стайке едва оперившихся пташек, ждущих, когда их покроют, а если и покрытых, то лишь в глагольных формах несовершенного вида, в том смысле что тема перманентно ждет своего продолжения и, стало быть, всегда есть место подвигу. Но эти водятся с пернатыми из других стай. За пять лет у меня не было ни одного филфаковского романа, разве что с преподавательницей французского, о чем мне не хватает духу рассказать, разве что, может, в старости. Но сейчас я не о том, я о стене, на которую взобрался впервые довольно поздно для будущего альпиниста – в двадцать один год, в начале пятого курса.

Тренировался я в главном спортивном зале университета, в том непонятного вида мрачном здании, несколько похожим на тюрьму, где еще – представьте! – в 1793 году был открыт первый в России крытый зал для спортивных игр, в частности – для французской jeu de raume,¹¹ представляющей собой нечто среднее между волейболом и сквошем, где применяются отскоки не только от пола, но и от стен. 1793-й... Французская революция в разгаре. Тrepещут тираны мира, а Екатерина Вторая по невежеству или из тщеславия кокетничает с этой воинствующей шпаной Вольтером и Дидро, из ядовитой слюны которых и будут лепить свое мировоззренческое гнездо

¹¹ игры в мяч

осы рвущегося к власти третьего сословия. Прощай, Бог, адъё, аристократизм духа, – отныне миром будет править плебейство, демократия торгашей и лавочников, ловитва рынка. Нет больше совести, господа и господарки, мсье и медам. Да здравствует корысть! С начала девятнадцатого века и по сейчас мир задыхается в дерьме свободы, равенства и братства. От каждого из этих слов меня отдельно тошнит. Человек не свободен, не равен и не брат. Иначе бы он давно сгинул. Свободный человек – это зверь. Равный – это раб. Братство же чревато антиморалью и коллективным преступлением. Девяносто третий, девяносто третий... В 1993 году умерла моя матушка. Последние годы мы с ней мало общались, и я считал, что это правильно, что я не должен ей мешать, и даже гордился тем, что давно уже живу собственной жизнью и не от кого не завишу. И только с ее уходом я прозрел, осознав, что зависимость – это и есть счастье. Какой-то непрочитанный роман о том же 93-м, Жан Вольжан на выросте из детства, защитник отверженных, посланник справедливости. Насчет наличия последней очень сомневаюсь. У Гюго, поставщика мелодрам, в чем и секрет его невыдохшейся популярности, мне нравился другой герой – отщепенец с располосованным ртом – тот, который всегда смеется. Сколько наслаждений выплеснул я на пол из ледящей подростковой плоти, пожирая глазами сцену созерцания Гуинпленом спящей под прозрачными шелками красавицы...

Но я отвлекся. Высота в том зале приличная, метров тринадцать, и на тамошнем импортном тренажере можно получить хорошую нагрузку. Однажды, когда я уже вполне резво ходил по поверхностям не только с прямым, но и с отрицательным углом, я заглянул в этот зал потренироваться. Дело было зимним утром, в студенческие каникулы, спортивная кафедра была закрыта, но между залом и женской раздевалкой с душем, что на этой же площадке, шастал водопроводчик, устраняя какую-то мелкую аварию. Закончив, он, как мы договаривались, оставил мне на лавочке ключи, которые я обещал сам занести в охрану после тренировки. К этому моменту я висел под потолком на страховке, и мне лениво было спускаться, чтобы закрыть за ним наружную дверь. Я еще минут десять ползал по стене, пробуя разные варианты растяжек, но мысль, что наружная дверь не закрыта и что я в здании один и как бы за все отвечаю, молчаливой дрозифилой вилась в моей голове, мешая получать кайф от этого трехмерного пространства, в которое ты выходишь, стоит только оторваться от земли. Короче, я наконец слез со стены, спустился по лестнице и запер входную дверь. Эта наша лестница – надо ее видеть. Мало что осталось от первоначального здания, кроме стен и ее самой, на арочных опорах, и я с привычным пиететом поднимался обратно по ее ступенькам, стертым подошвами примерно двадцати поколений. Включить какой-нибудь тепловизор, и увидишь их еще мерцающие на камне следы...

В зале меня ждал, так сказать, сюрприз – девица на стене. Действительно, то ли сюр, то ли приз. Или сюр пляс – то есть пляс здесь и сейчас, не сходя с места. Впрочем, я тогда еще не лазал по стенам домов и не считал, что моя озабоченность женской горизонталью¹² превышает какие-то общепринятые нормы. Девица эта, видимо, просочилась в женскую раздевалку, пока я слезал с тренажера.

– Ого, теперь нас двое! – весело констатировал я, глядя снизу на нее, зависшую в трех метрах над моей головой сгустком энергии. – Может, вместе потренируемся?

Девица неприязненно посмотрела на меня сверху, но скрыла искус послать подальше, и по законам альпинистского братства¹³ откликнулась бесстрастным эхом:

– Может...

Она явно испытывала досаду от моего вторжения в ее вертикаль. Такое чувство бывает на горе, когда вдруг обнаруживаешь, что ты не один.

Но я ведь тоже не был рад ее появлению и улыбался сквозь сиюминутную враждебность, с трудом поднимая шлюз своего затворничества, дабы пропустить толику любви к ней, то ли

¹² в просторечии – полом

¹³ о братстве я уже говорил

ближней, то ли не очень. Одетая моя альпинистка была, как все мы тогда, в простейший спортивный трикотаж темно-синего цвета, зримо облегающий ее ладно оформленный зад. Светлые тусклые волосы, цвета прелой соломы, были собраны в хвост на затылке. Миловидное лицо – как тысячи лиц вокруг – которое не замечаешь, пока сам не наделишь его особой приметой, отличительным знаком. Лик, лицо, личность. Ее личность была за семью замками. Когда я оказался рядом, она бросила на меня короткий взгляд, в котором не было ни любопытства, ни этого вечного девичьего вопроса «не ты ли мой избранник?», из чего напрашивался вывод, что избранник уже есть, – рекогносцировочный взгляд, которым проверяет нас на улице встречающая женщина, дабы выяснить степень нашей непредсказуемости. Меня она как бы и не идентифицировала за ненадобностью, и не скажу, что молодого мужчину это устраивало. Впрочем, ее уже успело обдать первым легким потом, аура которого здесь, на стене, в довольно холодном неподвижном воздухе зала, была приятна.

Ее звали Викой, она училась на биофаке. Тогда мне казалось, что биологини обладают некоторой продвинутой областью секса, во всяком случае, они могут толково объяснить, что же там происходит на самом деле, и мне захотелось познакомиться с Викторией поближе. Но она всем своим видом показывала, что пришла потренироваться и не более... Этакая эмансипированная самодостаточность. Воспитанная в консервативной атмосфере театрально-балетной куртуазности, тогда я еще пасовал перед такими амазонками. Однако стена все же давала мне некоторые шансы на успех, так как передвигались мы не без помощи друг друга. У меня были с собой крючки и, ввинтив очередной крюк в отверстие, и, пропустив через него веревку, я предлагал Вике нестандартные, более сложные ходы, которые сам же и страховал. Надо сказать, что она неохотно вверяла мне свою руку, будучи, как я успел заметить чувствительной к прикосновениям, которые в данном случае претили ей. Будто я посягал на ее ласку, хранимую для другого. Мне и самому было хорошо знаком этот ригоризм юного чувства.

И вот мы ползаем по стене, и разговор у нас совершенно не клеится. Каждый ответ дается Вике с видимым трудом – и если она терпит эту ситуацию, то потому, что иной не предвидится, и, наверное, клянет меня и себя. Дескать, черт дернул. Мне же все лучше и лучше с ней, даже веселее, и моя преимущественная роль на стене дает мне право творческой инициативы. Вика пахнет разгоряченной молодой самкой, принявшей с утра ванну, полную пены,¹⁴ и мне уже неважно, что кто-то где-то у нее есть. У всех у нас кто-то есть, но разве это так уж важно, когда тебе всего двадцать с небольшим и каждый день можно начинать с нуля.

Тут и происходит следующее – ступня Вики в мягкой тонкой кроссовке¹⁵ соскальзывает с крошечного выступа, и Вика падает, повисая подо мной на страховке. Молча, что надо отметить.

С почти непритворным «Ух ты!», в котором звучит и восхищение ее мужественным молчанием,¹⁶ и чувство опасности, и знак, что ситуация под контролем, я протягиваю ей свободную левую руку – она хватается за нее, одновременно обретая ногой опору, и растерянное лицо ее рывками всплывает ко мне. Похоже, она действительно испугалась, и нежелания быть рядом и вместе теперь в ней явно поубавилось. Но, делая последний шаг, она снова срывается на длину наших соединенных рук. При этом она – экая неловкость – проезжает лицом, носом, губами вдоль бугорка между моих чресел, явно выросшего в черед наших экстракасадий. Хотя свидание было мимолетным, свидетельствую, что мой и так уже озадаченный приятель успел ощутить живое касание этих губ, толику выдоха, исторгнутого ими в миг скольжения вдоль моего тела. Да, это была невольная, или даже исподвольная, извлеченная из вечности ласка, которой умеют одарять лишь немногие возлюбленные, изредка посылаемые нам богом любви на отрезке нашей земной жизни, как бы во искупление ее непреходящей сироты и тщеты. И хотя ласка эта, вернее, не она сама, а скорее ее модальность, не была направлена на меня, но достаточно было и того, что

¹⁴ живет с папой и мамой в старинном доме на Фонтанке

¹⁵ только в таких и можно ходить по стенам

¹⁶ хотя это мог быть и шок

я обнаружил ее в этом мире. Она раскачивалась чуть прираскрытым цветком где-то на цветущем лугу, и, испытав холодок зова в мохнатом шмелином подбрюшии, я пошевелил усиками и расправил свои крылья, чтобы отправиться за ней в опасный, но сладкий путь.

Растерянно улыбаясь, пытаюсь понять, не подстроено ли очередное падение и одновременно убеждаясь, что нет, Вика несла теперь в своем взгляде встречу с моим мужским началом и, понимая, что встреча случайна, и что я не могу за нее отвечать, простила мне всю эту ситуацию. Прикосновение к моему естеству не испугало ее и, к счастью, не было ей неприятно – так в дверной давке, абсолютно российской по своему генезису, порой вместе с парфюмерно-телесным ароматом получаешь безличные приветы от соседних бюстов, ягодиц и чресл, даже не успевая визуально идентифицировать их обладательниц.

– Все, я хочу спуститься, – сказала она, покусывая губу. – Сегодня не мой день.

Я же глядел на бисеринки пота, собравшиеся во впадинке над двойным мыском чуть оттопыренной верхней губы,¹⁷ и не желал ее отпускать. В теле моем призывно пели сирены.

– Да бросьте, – сказал я. – Надо дойти до конца.

– У меня мандраж, – сказала она.

– Но вы не одна, – сказал я. – Риска ноль целых, ноль десятых. Мы же не высоту преодолеваем, а себя. Зато потом будет...

– Не надо мне этих банальностей, – перебила она меня, выдергивая руку. – Как будет потом, я и так знаю. Все, я спускаюсь.

Внезапно меня прошиб гнев, будто ударили в большой барабан где-то в районе затылка, и музыка, еще секунду назад звучавшая во мне, разом смолкла. Я скинул с крюка ее страховочную веревку, отбросил от себя, как дохлую змею, и, не оглядываясь, полез вверх. Вообще мне присуща гневливость – в основном, она вредит, но с некоторыми женщинами действует безотказно. Плаксивое детство, всевластие любимого отца, каприз, прерываемый грозным рыком. Релаксация и отрадные слезы покорности. Поднимаясь, я услышал молчание за собой и, не выдержав, оглянулся – Вика медленно взбиралась следом, впрочем, слегка подаваясь в сторону, как если бы меня тут больше не было. Так она поднялась до потолка, где я в три приема настиг ее.

– Пойдем дальше? – улыбаясь, как ни в чем не бывало, спросил я.

Она кивнула.

Дальше начинался отрицательный угол и выход под козырек, над которым можно было подвеситься на страховках и отдохнуть. Я почувствовал покалывание во взмокших кончиках пальцев – знак опасности. Хотя никакой опасности, собственно, и не было, кроме того, что я каким-то звериным чутьем ощущал, что Вика идет прямо мне в сети.

Да, не зверь я, а паук – невесомый, стремительный, алчный...

Я поставил крючья, застраховался, прошел вперед и помог Вике. Мандраж еще не избыл в ней, но клин выбивают клином, и я видел, что она решила что-то мне доказать. Когда тебе, еще полчаса назад совершенно незнакомому человеку, пытаются что-то доказать, это, согласитесь, немало...

И вот, обвязанные веревками, мы повисли под потолком, и я в обезьяньем кураже прошелся туда-сюда на одних руках – почти цирковой номер. В глазах Вики я прочел удивление, одобрение, страх и первые признаки любопытства. Я же хмелел в эманации ароматов, издаваемых ее упругой горячей плотью, когда сквозь духи или какой-то там дезодорант пробивалась горячая исподняя

¹⁷ знак чувственности и лиризма

струйка пота. Внезапно мне пришла в голову мысль свалиться на страховке – так, чтобы та удержала меня над самым полом, но я не решился таким образом проверить крепость тренажера. Мысль, однако, жила, азартно ветвилась... И тут я понял, ради чего, собственно, и заманил сюда Вику. Незаметно я стравил метр своей веревки и разжал пальцы, отпуская крюки.

Меня бросило вниз, и уже после рывка я услышал короткий вскрик Вики. Голова моя, как мятник, закачалась возле ее бедер, перетянутых над коленями веревками. Я уцепился за Вику, словно за соломинку, – причем она еще явно по недоразумению пыталась мне помочь – затем резко сдернул с нее рейтузы, за которыми белой чайкой мелькнули шелковые трусики, и впился губами в прикрытую кружевом нежную податливую промежность, сдобно пышущую сквозь дырочки вышитых узоров, – будто только что из печи.

С этого момента я едва ли отдавал отчет в своих действиях. Все это произошло как бы само собой, и, наверное, так же смутно осознавала происходящее и Вика, потому что она не пинала меня, даже не пыталась оттолкнуть, словно моя безопасность ей все еще была важнее собственной, – она вцепилась мертвой хваткой мне в волосы, невольно прижав к своему лону, так что мне было даже не пошевеливать головой. Но руки у меня были свободны, я нащупал резинку ее трусиков, потянул вниз с сопротивляющейся крутизны бедер – и лоб мне щекотнула мягкая поросль лобка. Я поспешно проложил языком путь между уже мокроватых ворсинок и погрузил его во влагу, набегающую как березовый сок из свежего надреза. Не знаю, как другие, но я при малейшей возможности предпочитал начинать с куннилингуса, демонстративно подставляя под удар голову и шею, так сказать, атакуя из самой зависимой позиции. Губы и язык не столь агрессивны, как основное оружие, не могут напугать, и даже у некрормивших грудью молодых женщин нежное сосание вызывает в недрах их детородного чрева сверкающий рефлекс материнства – а мать не может ударить прильнувшего ртом к ее плоти. Для меня же поцеловать порог этих недр означает собрать почти необъятную информацию, я несу ее на чувствилищах своего рта, на всей этой называемой лицом поверхности, с ее морщинками, волосинками, родинками, порами, детскими шрамами, прыщиками, утренними порезами безопасной бритвой – несу, как бесценный дар, чтобы восторженно принять или сокрушенно отвергнуть. В соприкосновении с чужой плотью всегда проходишь порог отвращения или отторжения, как звуковой барьер, – это протестующе вскрикивает наше отвергаемое эго, но если его преодолеть, точнее, растворить, дальше начинается полет. Да, мы высшие существа, по крайней мере, мы себя таковыми сами считаем, но узнавание по формуле «свой-чужой» и у нас, как у многих низших, начинается с запаха. А что такое запах – симфония, океан звуков, каждый из которых значим, потому что индивидуально неповторим. Когда-нибудь сканеры по нашему запаху будут воспроизводить на экране нашу матрицу. Чудо? Едва ли, ибо природа придумала это еще миллиарды лет назад. Мы сами проделываем это каждый раз, пробуя языком лоно своих потенциальных возлюбленных. Возможно, мы всю жизнь ищем в них запах матери, утробы, из которой вышли. И никто из нас никогда не спутает свое с чужим.

Вика была своей, настолько своей, что мне больше ничего от нее не было нужно. Я впился в нее, как шмель в цветок, и сосал, сосал нежным жалом ее мякоть, впивая вместе с нектаром свои детские мечты и грезы о чем-то таком, что мне было бы трудно перевести на язык внятных человеческому сознанию образов, но что так или иначе было связано с землей, травой, цветами и порхающими над ними бабочками, в солнечный день, на поляне у нас возле дачи, мне пять лет, и я слышу голос мамы, зовущей меня попробовать брусничное варенье из тех ягод, что мы вместе собирали накануне.

Нет, не так – сосновый лес, голубые понизу и оранжевые поверху стволы, их просвечивающая шелуха, похожая на луковичную, косые столбы света, похожие на контрфорсы собора Парижской Богоматери, девочка в соломенной шляпке с соседней дачи, мы с ней играем в бадминтон, и белый волан взвивается и опускается в замедленном парении, которое почему-то отдает холодком под ложечкой, будто это воспаряет и упадет мое сердце, сердце или душа. Видимо, в ласке моей был какой-то ритм, потому что мы раскачивались и раскачивались, как ветви под ветром, как листва, как два сплетенных стебля, и вдруг вместе с дрожью, пробежавшей по телу Вики, я услышал ее стон, тут же прерванный ее сильными лядвеями, которыми она судорожно сжала мою голову. Я ослеп и оглох в этом объятии, сохраняя связь с ней на уровне двух чувств – осязания и обоняния, – но и их было достаточно, чтобы довести Вику до ее конца, который поразил меня своей высокой

амплитудой, и когда она, обессилев, разъяла ноги, выпустив меня, новорожденного, в этот мир, воздух еще вибрировал от ее крика.

Я поднял глаза. Уронив голову на плечо, глядя куда-то в сторону, Вика обездвиженно висела надо мной, не замечая своей продолжающейся, как бы уже неуместной наготы. Я подтянулся, лицо мое оказалось против ее лица, она посмотрела на меня, не меняя своей отрешенной позы, и тихо, почти не разжимая губ, сказала:

– Господи, что это было?

Вместо ответа я¹⁸ водрузил на прежнее место ее трусики и рейтузы и протянул руку, давая понять, что мы возвращаемся.

Но возвращаться мне не хотелось. Едва ли тогда мне и открылось впервые, что именно под знаком высоты и чувства опасности и формируются параметры моих самых ярких сексуальных переживаний, но в те минуты мне инстинктивно хотелось остаться на стене, словно она была моей защитницей и колыбелью. К тому же мое неразрешившееся от бремени начало алчно пульсировало, и я поспешно рыскал глазами, ища подходящее для него продолжение.

Моя стена, на которой и крепились щиты альпинистского тренажера, имела на половине своей высоты уступ в метр шириной, и когда мы спустились до него, я сказал Вике:

– Передохнем немного?

Она кивнула.

Кто-то заботливый затащил сюда мат снизу, и мы, освободившись от веревок, уселись на него, глядя перед собой, как с горы, на расстилающийся внизу пейзаж нашего пронизанного светом эроса. Вика, видимо, и вправду подумала об отдыхе, однако меня влекло дальше, и я с трудом выдержав паузу в минуту-другую, повернулся к Вике, запрокинул ее голову и впился в губы. Она не сопротивлялась. Моя свободная левая рука нашла ее груди – они были без лифчика, заостренные, но не тугие, так что мне удавалось удерживать в ладони оба соска, которые я нежно мямл, перебирал пальцами, ощущая в них приливы и отливы накипающего желания. Потом рука моя скользнула к лону, мысль о котором буквально сжигала меня, и Вика сама стала опрокидываться на спину, раскрывая ноги. Глаза же ее закрылись. Оказывается, вся ее воинственная недоступность служила лишь одному – скрыть сверхчувственность. Ее Вика, видимо, ощущала как свой тайный порок, от которого, как ни странно, ее освобождали эти самые невероятные обстоятельства нашего развертывающегося соития.

Войдя в нее, я успел спросить «можно?», имея в виду свой выплеск, и откуда-то издалека услышал едва уловимое «да». Это «да» почему-то завертелось в моей голове, как праздничная петарда, являя в сверкающей кромке огненных искр рокоток буквы «р», отчего вся буквенная конструкция стала обретать новый смысл, потом радостно засверкала наоборот, превратившись в «рад», а потом в некое универсальное «да, Ра», словно жертвоприносясь древнейшему солнечному божеству, некогда оплодотворившему Землю. Потом я, полный ликования, летел куда-то в световых лучах. Потом был миг смерти и тьмы, и меня не было. Потом я открыл глаза. Надо мной склонялось лицо Вики. Не знаю, был ли это обморок. Скорее нет. Просто переход из одного мира в другой. Переход, который бывает болезненным.

Потом мы спустились со стены, и Вика ушла в женскую раздевалку. Моя одежда была в мужской, на этаж выше, но подумав, я решил принять душ вместе с Викой. Мне показалось, что там ждут какие-то новые дополнительные ощущения, которые обрамят только что испытанное мной. Тем более что мое отдохнувшее начало снова рвалось в бой.

Но дальше было то, что классически сформулировано на воровской фене: «жадность фраера сгубила». Вика не видела, когда я вошел в душевую. Она стояла под водопадом брызг и

¹⁸ уже ревниво

обихаживала мылом промежность с моим даром, вытекающим оттуда по внутренней стороне ляжки. Недостатки ее фигуры острой бритвой полоснули меня по глазам. Spина ее была непропорционально длинной, ноги же коротковаты, и сам зад трапецией расширялся книзу, как у рожавших женщин. Больше же всего меня огорчили груди, открывшиеся при повороте торса, – длинные, как у аборигенок острова Самоа, с огромными ареолами. Она была нехороша.

Видимо, Вика успела прочесть то, что написалось на моем лице, когда, почувствовав мое присутствие, внезапно подняла голову, и ее готовая одарить счастьем улыбка на глазах превратилась в перерубленного лопатой червячка, уползающего подобру-поздорову в темный испод земли.

Впрочем, мы все-таки еще позанимались сексом, а потом я проводил ее до остановки и взял номер домашнего телефона.

– До встречи, – сказал я.

Больше мы не встречались.

* * *

Я снова на стене. Моросит мелкий теплый дождик, несколько усложняя мне мою подвешенную на веревке жизнь, – все мокрое, ненадежное, но так даже интересней. Одно место почему-то особенно скользкое и припахивает неочищенным подсолнечным маслом – видимо, какая-нибудь разиня Аннушка уронила с подоконника бутылку. С какого? – пытаюсь вычислить я. Надо будет к ней наведаться на пироги.

Мысль о теплых сдобных пирогах – лучше с яблоками – возвращает меня к детству, к матушке, к противню с пирожками, который она достает в праздничный день из духовки и смотрит, как мы с папой их поглощаем. Ей нельзя – она балерина, у нее сегодня репетиция... Отчиму тоже было нельзя – и пирожки исчезли из нашего дома. Мой отец был режиссером-постановщиком в том же Кировском-Мариинском театре и хорошо знал отчима. Более того – по иронии судьбы они были приятелями, и отчим вошел в наш дом, как бы исполняя предсмертную просьбу моего отца... Отчима я ненавижу и лелею день и час, когда он с перерезанным горлом выпадет из окна квартиры, в которой я родился, и которая перешла к нему после смерти моей матушки. Впрочем, я и тогда уже жил отдельно. Моя матушка умерла три года назад – в октябре ей бы исполнилось пятьдесят. Но я ее потерял гораздо раньше – я ушел из дому еще юнцом. И навещался к матушке редко – лишь по самой крайней нужде. Она, естественно, понимала, что все дело в ее новом муже, но любила его, пожалуй, больше, чем меня, на что, конечно, имела полное право. Дети зачастую лишь побочный продукт отношений мужчины и женщины, и должны, на всякий случай, помнить об этом.

Впрочем, я многим обязан отчиму. Даже тем, что провел семь лет в Вагановском училище и, говорят, подавал большие надежды. Но страсть к книгам, к раздумьям в одиночестве и к тайному наблюдению над людьми плохо сочеталась с постоянными коллективными упражнениями у станка, потными мускулистыми партнершами и всем этим театрално-балетным дебилизмом, считающим сцену подлинной жизнью, а убогий набор условных поз и движений – истинным выражением человеческой души. Когда твоя партнерша крутит, дрыгая ногой, тридцать два фуэте, ее душа писает под себя от страха и изнеможения, и больше ничего.

...Обладание объектом желания убивает и объект и само желание. Мне всегда хотелось уничтожить женщину, в которую я кончил. Будто она вбирала в себя не только мой неистовый выплеск, но в нем – мою мечту дойти однажды до вечного блаженства и раствориться в нем без остатка и навсегда. Бедный Будда, достигший нирваны, но не оставшийся в ней – он решил подождать, пока к нему не присоединится все остальное, просветленное наконец, человечество. Ненавижу всех этих спасителей и моралистов! Человечество нельзя спасти, ему нельзя помочь, потому что ему ничто не угрожает. Человечество расплзается по телу земли как первородная

плесень с единственной ветхозаветной целью плодиться и размножаться, все же остальное, в том числе отпущение грехов, – от лукавого. Я не хочу размножаться, я не хочу плодиться, я восстал против естественного хода вещей, потому что он откровенно пошл. Я не хочу, чтобы в матке женщины из моих сперматозоидов начиналась алхимия еще одной бессмысленной жизни. Я желаю хотя бы собственным примером остановить этот процесс переливания из пустого в порожнее. Онан, проливший свое семя не в женское лоно, а на землю, представляется мне первым великим бунтарем против пошлости бытия. Но я живу среди людей, и потому знаю, что однажды за мной придут и поместят то ли в психушку, то ли в камеру смертников. Пока же не настал этот час, я спешу жить мою собственную жизнь.

Вот и ее освещенное окно – и снова оно занавешено! Это прямо какой-то вызов, брошенный мне в лицо. Холодная надменная красавица, Наталья Гончарова, прекрасная дева, явившаяся мне однажды на Эльбрусе, как София – Владимиру Соловьеву в Аравийской пустыне, я поставлю тебя на колени – ты будешь с упоением, по халцедоновой капельке, брать на кончик языка мой романтический экстаз и глотать его плавными подъемами гортани, вытянув высоким столбиком снежную шею. Гневно я перебираюсь к кухне – темно, но окно приоткрыто и занавески раздвинуты. Пахнет творожными сырниками – скорее всего, с изюмом. На ужин мы предпочитаем легкую пищу... Чашку кефира, парочку хрустящих крекеров. Дыхание у нас чистое, а зубки белые, как яичная скорлупа. Я влезаю, кладу на верхнюю полку рядом со старинным тульским самоваром свой рюкзак и на цыпочках выхожу в коридор.

Квартира – чета той, где я на днях побывал, разве что без балкона. Мужчиной не пахнет. Из ванной комнаты плеск воды, трубный шум ее, льющейся из крана. Шум мне на руку. Дверь не заперта, но в розовую щелку виден лишь выступ косяка. От розового света в ванной, вместе с этими звуками плескания и журчания, голова моя начинает кружиться, а в животе ниже пупка, прямо над лобком, как лотос, раскрывается витальная чакра земного желанья, чакра притяжения мужского к женскому. Однако в ее гонге я слышу и иные голоса – они все явственней, все яснее, они возвращают меня к моему началу, к нирване материнского чрева, где я был невесом и покоен, и бытие мое состояло из теплого света и теплой тьмы да мерных ударов материнского сердца, отсчитывающих срок моего появления в мире, который я так и не признаю своим. Я еще не знаю, кто я, у меня нет ни имени, ни пола, я маленькое божество вселенной. Правда, я подозреваю, что там, за хрустальной плацентой, живут иные боги, но в их пантеоне я еще равен им.

...Я вспоминаю, что в полутемном коридоре на меня вопросительно глянула круглая лужица зеркала на столике у стены – взяв его, я тихо открываю дверь туалета, затем дверцы стенного шкафчика и вижу то, что мне нужно – небольшое незарешеченное оконце в ванную. Точно в такое же оконце с помощью зеркала подглядывал я мальчиком за своим отчимом и матушкой, когда желание заставляло их среди бела дня в моем присутствии. При сем они всегда включали воду, и иногда я путал ее разнообразные звуки со сдавленными стонами любви. Встав на обруч унитаза, я подставляю зеркальце под углом и гляжу в него. Я вижу ее темный затылок, белые плечи и спину, и больше ничего. Зеркальце тут же запотеваает, и, быстро протерев его рукавом, я снова наставляю его. Затылок, плечи, девичья узкая спина, кажется, с родинкой под левой лопаткой. Я еще раз протираю, еще раз смотрю – уже только на родинку – это я сам приник к ее нежной коже, мозги мои плывут наискось, второпях я свободной рукой вывожу на свободу своего жеребца, взнуздываю его и пускаю вскачь. Закусив удила, он успевает пролететь лишь короткое расстояние, пасть его ощеривается и белая пена хлещет во все стороны... Мокрый, обессиленный, я спускаюсь с унитаза, закрываю шкафчик, не потрудившись утереть обрызганную черную фановую трубу, беру на кухне свой рюкзак и ухожу в дверь. Мне нужно немножко побродить по улицам перед тем, как снова вернуться на стену...

Дождик продолжает мелко сеять с неба – тепло, темно и глухо, под ногами скользят раскисшие листья. В парке какой-то мужчина в затрапезной куртке прогуливает собаку. Я пристально вглядываюсь в него – не видел ли он меня на стене. Глупые опасения. Я брожу по парку, пытаюсь найти открытое пространство, откуда была бы видна стена дома, но не нахожу. Везде деревья... Освещенных окон становится все меньше – темны уже окна моей снежной красавицы, и окна старушки Нади, к которой меня на аркане больше не затащишь, – только на самом верхнем этаже первое окно слева едва обозначено приглушенным карминным светом – за такими окнами, как правило, и занимаются любовью.

Я возвращаюсь к подъезду, набираю код замка, легко вычисляемый: три кнопки с цифрами, его обозначающими, заметно западают и больше отшлифованы. Лифт возносит меня на последний этаж, я поднимаюсь к железной двери на чердак – она подперта доской изнутри, как я ее и оставил, – я достаю припрятанный за трубой металлический прут, просовываю его в щель под дверь и отталкиваю доску. Я вхожу в кромешную тьму чердака, но у меня все равно нет уверенности, что я один, и, включив мощный фонарь, говорю негромким властным голосом хозяина положения: «Бомжи, на выход! Дом охраняется концерном „Защита“. Как правило, подобная заявка действует. Если бы я назвался участковым, эффект был бы меньший – с милицией бомжи непрочь попрепираться. В ответ – молчание. Луч моего фонаря быстро обшаривает углы – и только в одном из них раздается испуганный вспорх крыльев – голуби. Никого. Я снова подпираю дверь доской и вылезает на крышу. Внизу – темное пространство парка, дальше – многоэтажные дома, потихоньку обживающие берег залива, еще дальше – несколько одиноких огоньков на том берегу – Лахта, Ольгино, Лисий Нос... Небо над заливом – как огромная черная яма, а над городом – угрюмо-багровое от уличных огней. Раскинуть крылья и полететь. Вместо этого я закрепляюсь, пристегиваюсь и повисаю на тридцатипятиметровой высоте.

Как я и предполагал – за карминным окном идет бурный трахач. С минуту я наблюдаю за ним, но заглавные чувства мои молчат, и меня почему-то начинает раздражать смех. Балкон позволяет мне укрыться от дождя, но на всякий случай я не выпускаю веревки и вежливо стучу в стекло двери, попутно отмечая, что она не деревянная, а алюминиевая, как и весь переплет витражного окна. Хозяева тут явно не бедные. Парочка мгновенно приходит из лежачего в сидячее положение, и по ужасу в глазах довольно рыхлого белесого мужичонки моих лет я вдруг безошибочно вычисляю, что он здесь залетный гость и подлежит отстрелу. Так вот что делает супруга одна в отсутствие супруга... Я вытаскиваю газовый пистолет – он у меня ни разу не был в действии, – показываю его гостю и приманиваю пальцем: открой, дескать, мил человек, не то хуже будет. Он, как замороженный, прижав к животу подушку, движется к двери и открывает ее. Я показываю оружием, чтобы он вернулся к даме, и вхожу.

Фу, как здесь душно. Пахнет дорогими духами, потом, куревом и распаленными гениталиями.

– Частный детектив охранного концерна „Защита“, – представляюсь я, демонстрируя издали давно изжившую себя красную корочку члена Всесоюзного общества по охране памятников старины. – Ваши документы! – Требование мое обращено к мужичку, и он понимает, что я понимаю, кто он такой.

– Документы... – в прострации мямлит он, беспомощно глядя на меня. – Нет у меня документов.

Тогда я с наслаждением опускаюсь в просторное бархатное кресло возле окна и теперь уже обращаюсь к даме, которая, хотя и в легком шоке, но как хозяйка дома чувствует себя все же уверенней и уже стремительно подсчитывает в уме, во что ей может обойтись ее приключение. На вид ей под тридцать, миловидна, полновата, взгляд наглый и беспокойный, как у всех новых русских. Возможно, сама содержит магазинчик шведских пылесосов или французских кофеварок.

– Сударыня, – говорю я ей. – Простите за столь поздний визит, но сами понимаете – служба. Выполняем заявку вашего мужа – проследить, так сказать...

– Какая сволочь! – говорит госпожа, чем мне сразу начинает нравиться. – Какая он все-таки сволочь! – убежденно повторяет она и поворачивается к своему дружку: – Иди, Петя, мы тут без тебя разберемся... – Она явно не уверена, что я его отпущу так просто, без предъявления документов, и блефует.

– Минутку! – поднимаю я руку, спокойно достаю из рюкзака „поляроид“ и, прежде чем они успевают отвернуться, щелкаю их со вспышкой на вечную память. Фотоаппарат всегда при мне, но впервые я его использую как сыскай агент... Затем я благодарно киваю онемевшей парочке. Моя акция, похоже, добила их окончательно.

Тот, кого называли Петром, трясущимися руками подхватывает с другого кресла брошенную одежду и, продемонстрировав мне свою бабью задницу, скрывается в коридоре.

А хозяйка смахивает набежавшую слезу, встряхивает густой шевелюрой каштановых с позолоченными концами волос и говорит ему вслед:

– Тихо! Ребенка не разбуди!

Затем она с презрительно-неуверенной и, в общем-то, жалкой усмешкой поворачивается ко мне, смотрит мне прямо в глаза, как бы говоря: да мы такие, и вы не лучше.

– Вот за ребенка ваш муж и беспокоился, – голосом доктора Спока говорю я.

– Да пошел он... – сквозь зубы цедит она и, придерживая рукой на груди простыню, тянется другой к ночному столику, берет узкую пачку сигарет „Davidoff“, ловкими пальцами достает одну: – Курите?

Я мотаю головой.

Она с моей помощью прикуривает, глубоко затягивается, снова смотрит на меня, словно колеблясь, нужно ли посвящать меня в семейные тайны. Потом говорит зло, с надрывом, будто в кабинете следователя:

– Мой муж импотент... – и, видя в моих глазах немой вопрос, продолжает: – А ребенок – ребенок не от него. Так *что* ваша сраная „Защита“ прикажет молодой женщине, можно сказать, яголке в самом соку? А он еще, сволочь, ревнует. Думает, за деньги все можно купить... Член бы себе купил, паскуда... – Она всхлипывает.

– Такие члены есть, – говорю я. – Вживляются в настоящий, наполняются специальным составом. Действуют безотказно. Читал в одном журнале, собственными глазами. И потом есть масса способов удовлетворить женщину и без члена.

– Он не умеет! И не хочет учиться. В церковь ходит. Он у меня того, христосик... – Она повинтила пальцем висок и звучно щелкнула языком, открыв розовую изнанку влажных полных губ. Губы эти словно поцеловали меня в пупок, и я встрепенулся.

Дверь робко приоткрылась, всунулся одетый Петя и, обращаясь неведомо к кому, проблеял:

– Так я пойду?

– Иди, – сказала хозяйка.

Я же молча деловито кивнул, как бы занятый допросом основной участницы бытового преступления.

Оба мы отметили, как за ним тихо закрылась входная дверь, и с облегчением посмотрели друг на друга, будто без него нам будет легче договориться.

– Ну так что прикажете делать? – вопросительно смотрит на меня хозяйка.

– Ничего. Составим акт. Вы подпишетесь. И разбежимся.

– Триста... – говорит она и выдыхает в мою сторону голубую струйку дыма.

– Чего триста? – ломаю я ваньку.

– Баксов... Не рублей же.

– Между прочим, у меня сертификат надежности высшей категории, – леплю я первое, что приходит в голову, помня ее губы и то, что под простыней на ней ничего нет.

– Четыреста...

– М-да... – тяну я.

– Пятьсот, – выдыхает она. – Больше у меня с собой нет.

– А у Петра?

– Вы же его отпустили! – недоуменно вскидывает она брови и что-то вычитывает в моем лице, потому что вдруг спокойным, почти царским движением убирает простыню и выпрямляет спину, являя мне свои тяжелые полновесные груди с коричневыми красивыми сосками. Движение давнее, заученное, проверенное на многих...

– Интересное предложение, – говорю я, колеблясь в выборе.

– Триста сверху, – говорит она, явно себя недооценивая.

Если бы не этот рохля, побывавшей в хозяйке до меня, я бы, пожалуй, выбрал то, что у нее между полных тугих ляжек, теперь же меня скорее возбуждает минимум, и я говорю:

– Ладно. Остановимся на поцелуе...

– Чего-чего? – говорит она.

– На поцелуе, – повторяю я. – Как это по-французски?

– Минет, что ли? – спрашивает она.

– Что ли да, – охотно киваю я. – Кстати, о минах. Когда во время Второй мировой войны наши саперы разминировали Белград, они оставляли после себя таблички с надписью „Мин нет“. Но к командиру стали приходить смущенные жители города, особенно женщины. Командир оказался человеком образованным. На следующий день все таблички в городе были заменены – теперь на них писали „нет мин“. Что было, естественно, ближе к истине, потому что тмином там и не пахло.

Говоря все это, я уже стоял перед ней и нетерпеливо ждал ее рук.

– Так и будешь стоять? – вмяв сигарету в пепельницу, усмехнулась она и расстегнула мне ширинку.

– Угу, – сказал я.

– Ох, какой! – сказала она, осторожно вынимая моего китайского дракона, прямо на глазах наполняющегося встречным ветром ее влажного теплого дыхания.

Она сразу без околичностей вобрала его, стала обхаживать губами и языком, и кончик молнии, начинающейся прямо в чреслах, завибрировал у меня в затылке. Я запустил руки в ее густые волосы, слегка подаваясь вперед, но лишь слегка, чтобы не перекрыть ей горло. Я стал стремительно набирать высоту и, прежде чем сорваться с крючка и уйти в свободный полет, успел крикнуть: „Глотай!“.

На прощание я не без сожаления похлопал ее по крутому заду, вынул из „поляроида“ снимок и подарил ей. Она тут же порвала его.

– А на триста долларов купи сыну велосипед, – сказал я.

– У него уже есть, – ответила она, прислонившись к косяку двери и, похоже, тоже сожалея, что мы расстаемся.

* * *

Дети – особая статья в моих ночных приключениях, хотя ночью они обычно спят и, стало быть, как правило, выбывают из игры. Но случаются и исключения, и тогда...

Во-первых, они меня не боятся, а во-вторых, принимают всерьез – за кого-то вроде Карлсона с крыши. По правде говоря, этот детский любимец мне ненавистен. Мало того, что от него одни

неприятности, – он вдобавок еще труслив, жаден и вероломен, и патологическую привязанность к нему Малыша, постоянно оказывающегося в страдательном залоге, я не могу объяснить иначе как комплексом безотцовщины. Так я когда-то тянулся к отчиму, который ведь тоже по-своему меня любил. Если бы не балет, он мог бы стать выдающимся спортсменом, легкоатлетом, десятиборцем. С детства я бегал с ним кроссы, купался в любое время года, играл в футбол, подтягивался на перекладине. Он меня закалил, он помог обрести мне сильное и гибкое тело, послушное, как мысль. Физически нормально развитый человек подтянется на перекладине раз десять-пятнадцать, отожмется раз пятьдесят. Я подтянусь и отожмусь на порядок, то есть в десять раз, больше. Но тот же отчим, совсем как Карлсон, просто в силу своего веселого эксцентрично-эгоцентричного нрава, – на вечеринке с приемом гостей, на утренней кухне с завтраком на троих, в училище в репетиционном классе, ухитрился нанести мне столько незаживающих ран, что, существуй на земле правый суд, этого весельчака отправили бы на сковородку в ад. Помню, когда мне было семь лет, кто-то из наших гостей принес нам под Новый год большую коробку импортных шоколадных конфет. Каждая из них была завернута в тонюсенькую красивую фольгу – желтую, синюю, розовую, фиолетовую, с такими же разноцветными звездочками. На мое несчастье, в доме было много народу, включая детей, и от конфет через десять минут ничего не осталось. Я успел съесть лишь одну, и не самую красивую. Я очень горевал, хотя и крепился из последних сил, чтобы не заплакать. Помню, отчим лукаво глянул на меня, поманил пальцем, заговорщицки отвел в уголок и прошептал, что для меня он отложил еще одну „вкуснятную“ конфетку. Я, как счастливый троглодит, раззявил рот, и отчим, как бы тайком развернув нарядную облатку, торопливо сунул мне в рот хлебный мякиш, притом он громогласно загоготал, приглашая гостей посмеяться над жадным и завистливым мальчиком. Вкус этого отвратительного мякиша до сих пор у меня во рту.

Однажды, путешествуя по полуночной стене, я почувствовал на себе чей-то взгляд из темного открытого окна и вместо того, чтобы поскорее удалиться, наоборот задержался и увидел пятилетнего мальчика. Он стоял на стуле и смотрел на меня во все глаза. У него было умненькое лицо. Я улыбнулся ему, и он мне ответил.

– Ты кто? – спросил он.

– Догадайся, – сказал я, забыв про всякую осторожность.

– Ты Карлсон, который живет на крыше. Я давно тебя жду. Входи. Будем играть.

– Поздно, – сказал я. – Тебе пора спать. Где твоя мама?

– Она с дядей Мишей в другой комнате...

Про папу я уже не спрашивал. А присутствие дяди Миши было чревато осложнениями. Но я пообещал мальчику в следующий раз обязательно зайти.

– Когда? – спросил он.

– Завтра... – ответил я, – вечером. Только маму предупреди.

Он серьезно кивнул, и я понял, что не имею права его обмануть.

Назавтра, с цветами и подарком я позвонил в их дверь на пятом этаже. Мне открыла молодая высокая женщина, с горделивым носом и подбородком, из той элитной театрально-филармонической питерской породы, которая в постперестроечные времена впала в депрессию и нищету, но не утратила интеллигентской спеси. Из-за нее выглядывал мой маленький мальчик:

– Мама, я же говорил, что он придет!

– Значит, заговор, – усмехнулась мама, – а я ничего не знаю. Проходите, садитесь, объяснитесь. Это мне? – притворно удивилась она цветам. – Спасибо, спасибо... И все же потрудитесь объяснить, что все это значит? Откуда вы взяли на нашу голову?

– Он не взялся. Он Карлсон, который живет на крыше. Я сам видел... Только он без... – И мальчик вдруг осекся, не обнаружив на моей спине пропеллера.

– Сломался, – глядя на него, похлопал я себя тыльной стороной левой руки по лопаткам. – Хожу на веревке и пешком.

– Мой сын утверждает, что видел вас на стене. Что вы там делали в поздний час?

– Тренировался, – не моргнув ответил я. – Через две недели сборы у семитысячника... у пика Коммунизма... в Таджикистане. Восстанавливаю форму.

– Вы что, из этого дома?

– Нет, но здесь живет мой приятель.

– Значит, с ним на пару? – похоже, вполне принимая мою версию, усмехнулась женщина.

– Нет, – сказал я. – Он техник-инженер. Мастерит оборудование, а я опробую.

– А что, нет каких-то специальных полигонов? – делая слабую попытку осознать неинтересную ей область, спросила женщина.

– Дорого нынче, – сказал я, и она с серьезным видом кивнула. Это был весомый аргумент.

Потом она поднесла красивую вялую руку к виску и тронула его, как бы пробуждая резервы памяти:

– Этот пик Коммунизма... он что, так до сих пор и называется? – тема общения была исчерпана, и женщина не знала, о чем еще со мной говорить.

– Сам удивляюсь, мадам, – сказал я. – Впрочем, разве вас не удивляет двуглавый орел рядом с пятиконечной звездой на фуражках наших военных. Наша история, как и жизнь, амбивалентна...

Последнее слово пришлось женщине явно по душе, и она оживилась, словно почувствовав во мне ровню. Я же, наоборот, скис, и фитилек любопытства угас. Я трижды выругал себя за то, что допустил непростительную сентиментальность, ввязавшись в эту историю, и уже искал пути для отхода, но тут меня посадили пить чай с домашней выпечкой. Эта проклятая выпечка тронула мои детские струны, и я снова размяк, как обслонявленный пряник. Мы сидели за узким кухонным столом, и наши с мамашей коленки раза два встретились. Я заметил, как при этом вспыхнуло изнутри ее лицо, и понял, что дядя Миша не выполняет возложенных на него обязанностей. Я повеселел и представил, как поимею ее. По ее лицу я видел, что она читает мои мысли и не очень-то скрывает свои. Мальчик же, торопливо выхлебав чай, сорвался со стула и приволок мне большую детскую книгу с картинками. Вежливо, не говоря ни слова, он положил ее мне на колени и встал рядом.

– Все, теперь это надолго, – не без досады усмехнулась мамаша, словно рассчитывала, что мы с ней сами что-нибудь почитаем.

История про Маленького Мука заняла много времени, но кое-где я узнал перипетии своей собственной судьбы. Мамаша тоже слушала с сочувствием. Она двигалась мимо нас по кухне, и одним глазом я следил за взмахами ее длинной – до сухих щиколоток – шелковой юбки. Мальчик тоже, видимо, следил за мамой, потому что, когда она закончила свои кухонные дела, он попросил ее посидеть с нами. Он хотел, чтобы нас было трое. Он справедливо считал, что первоначальная семейная ячейка состоит из трех человек. Это был мальчик-объединитель. Мамаша не без робости опустила рядом со мной – с другой стороны места не было. Наши бедра соприкоснулись и высекли искру. Я читал уже не так внимательно, и иногда она наклонялась передо мной к книге, чтобы меня поправить. Тогда я специально стал делать ошибки, и мальчик тоже стал поправлять – оказывается, он знал эту историю наизусть. И вот я ошибался, а они дуэтом поправляли – получалась игра, и всем стало весело. Тогда я чуть развернул левое плечо, загоразивая от мальчика маму и, глядя в книгу, положил левую руку на мамино бедро. Она двумя пальцами,

как лягушку, сняла ее. Прочтя еще два предложения, я робко, просительно провел указательным пальцем по шелку юбки от колена до бедра, на что никакого ответа не последовало. Тогда я снова вернул руку на ее бедро, и больше меня не прогоняли. Я смотрел в книгу и видел фигу, и мальчик читал за меня наизусть целые куски. Юбка оказалась не сплошной – она запахивалась – и я легко нашел путь внутрь. Чтобы я не повел себя как слон в посудной лавке, мамаша придерживала мою руку – по сантиметру, в борьбе, уступая свою территорию. Собственное сопротивление возбуждало ее и поддерживало иллюзию благонравия. Так, вдвоем, мы добрались до трусиков, и я заглянул за барьер. Там все было в соку и цветении. Мамаша закинула голову и еле слышно засопела своим недавно горделивым носом, я же в предвкушении финала повысил голос – впереди оставалась еще одна страница. Когда же остался лишь один абзац, мамаша стала крупно вздрагивать и до боли стискивать мне руку. Обожаю женский оргазм – в этот миг я себя чувствую Творцом, Демиургом. Кончиком указательного пальца, как микеланджеловский Саваоф, я поджигаю фитиль первоматерии и из гигантской силы взрыва рождается новая вселенная.

В этот момент я глянул на мальчика и увидел, что он больше не слушает меня, а, чуть вытянув голову, внимательно смотрит в направлении моей левой руки. Я же не успел сам туда глянуть, потому что мамаша резко встала и, закрыв лицо руками, быстро вышла из кухни.

– Дядя Карлсон, моей маме плохо? – громко спросил мальчик.

– Нет, сынок, – раздался из ванной ее голос. – Твоей маме хорошо.

Я успел дочитать историю, хотя не уверен, что мальчик меня слушал.

Потом она отвела ребенка в комнату, вернулась и, в праведном гневе встав передо мной, велела убираться. Я понял, что навсегда.

Ночь третья

Да, в пору своего сексуального пробуждения, где-то лет в двенадцать, когда я, долго мучая свой маленький пенис, стал наконец извлекать из него по несколько матовых капель нового для себя снедающе-сверкающего чувства, я стал мечтать не просто о полетах, но о полетах перед окнами высоких домов, где красивые девочки укладываются спать. Я мечтал влетать к ним и смотреть на них, сонных... Для моего детского либидо это представлялось достаточным. Я был тогда влюблен в Мальвину – девочку-куклу из сказки про Буратино. Я завидовал ее верному псу Артемону, который жил в ее домике, я чувствовал себя Пьеро и не терпел тупую деревяшку Буратино. Почему-то большинство мужчин вырастают из таких вот Буратино, и очень мало кто – из нежных, чувственных и тонких Пьеро. Я много влюблялся: в детском саду, в школе, в хореографическом училище, но всегда – в девочек и девушек с правильными чертами лица, с кукольными личиками. Мой идеал – немецкая манекенщица Клаудия Шиффер, женщина-кукла, plastic girl, длинноногая Барби из пластмассы. В юности, до встречи с первой своей женщиной, я мечтал о большой надувной кукле, с какими отправляются в море моряки дальнего плавания. Пока же я не познал первую женщину и целых пять лет чуть ли не ежедневно выпускал из себя белесый фонтанчик мечты, кропя им сокровенные страницы взрослых любовных романов и картинки обнаженной женской натуры, я создавал тела своих возлюбленных из подушек, а то, что по-русски названо жутковатым, как ночной кошмар, словом „влагалище“ – из полотенца, тугим узлом обхватывающего под головкой мой неутолимый мужской феномен. Я экспериментировал с мочалками и губками, с дыней, в которой вырезал дырочку, выбирая изнутри лишнюю мякоть, я применял даже хурму, но, бедная, обычно она расплзлась раньше, чем я был готов, закрыв глаза, раствориться в ее волглой клетчатке... Примерно тогда же я познал сладостный поцелуй сильной водяной струи из крана, дробной лаской, как языком, колотящей в точку экстаза – прямо под головкой моего машущего крылами сладострастия.

Я хорошо помню свою первую женщину и часто вспоминаю ее, хотя мой первый коитус закончился для меня полной катастрофой – разрушением чуть ли не до основания возведенной мною сверкающей пирамиды под названием ЖЕНЩИНА. Я уже так никогда и не смог водрузить на прежнее место те фантазмы, из которых ее сложил. Мы были пьяны, к тому же у нее еще не кончилась менструация, и пока я делал то, что в моем представлении и было соитием, на простыне

под нами натекло огромное розовое пятно... Потом мы куда-то ехали и, приехав, снова занимались тем же, словно я каждым новым разом пытался перечеркнуть уже пережитое мною сокрушительное разочарование, – ее раскрытая розовая ракушка, которая, как я теперь понимаю, была вовсе неплоха, издавала какие-то непотребные звуки, разя наповал самые дорогие мне упования, а я все не мог остановиться. Так порой, взяв вещь, чтобы ее починить, мы словно в чаду злых чар, доламываем ее до конца.

Кстати, насколько безобразен наш великий и могучий... – я имею в виду русский язык, – когда он обращается к, так сказать, первичным половым признакам женщины и мужчины. Каждое слово – как удар пыльным мешком по голове. Не это ли и есть исторически закрепленное в нашем сознании отношение к сексу и всему, что с ним связано. Несчастен тот народ, который издревле называл это срамом. Даже хорошее слово пах, выдохом трех легких своих звуков, обозначающее впадинку, углубление, и так живо сразу рисуемое в моем воображении равнобедренный треугольник женского курчавого лобка с углами „П“, „А“ и „Х“, для меня непоправимо испорчено намеком на начальные буквы самых популярных в нашем лексиконе похабных слов и отвратительным для меня созвучием со словом пахнуть. Для расшифровки же буквы „А“, напоминающей мне отдающую женщину, в моем сознании нет более близких аллюзий, чем слово „Антихрист“.

Или антагонист. Как Синди Кроуфорд, патентованная модель фирмы „Ревлон“, – помада, помада и еще раз помада. Ее я не выношу, как вампир не выносит света, как нечистая сила – креста. У нее лицо своего в доску парня – она смотрит на тебя со всех углов и реклам как добрая спутница жизни, боевая подруга. Она видит тебя, сочувствует тебе, она улыбается тебе и говорит: не робей, не вешай нос, смело иди вперед, тебе все по плечу. А я вижу другое – что внутри она промокла от феминизма, слез и одиночества, и печень ее высохла от противозачаточных пилюль и этого голубка Ричарда Гира, по слухам, такого же голубого, как американские небеса. Она похожа на мою первую любовь, маленькую блондиночку с карими глазами по имени Регина, и нет для меня горше воспоминания.

Куда как симпатичней мне была парочка Шиффер и красавчик Копперфильд, настырный поставщик иллюзий, распиливающий себя циркулярной пилой, а затем взмывающий в небеса... Сколько я ни вглядываюсь в их лица, ни одной досужей человеческой мысли не могу вычитать там – они настолько неуязвимы и лишены слабостей, что их даже не пожалеть, они совершенны в своем монументальном равнодушии ко всем нам, как древнеегипетские колоссы храма Абу-Симбел. От них веет холодом тупого совершенства, бесчувствием бессмысленной истины. Они божественно безобразны. Они как две куклы – Барби и Кен. Они мои самые любимые монстры.

Ах, эта кукольная красота Шиффер, что с ней сравнится! Я ее обожаю за то, что никогда не буду ею обладать. За то, что обладать ею невозможно, потому что она не женщина. Она живет со своим Копперфильдом на столе в розовом пластмассовом домике, они ложатся спать на розовую кроватку и лежат, глядя в розовый потолок незакрывающимися глазами, и если провести у них пальцем между ног – там гладко, как на стене в осеннюю ночь. Но вспомните феллиниевского Казанову – его секс с куклой... Так и не успел я спуститься по римской стене в квартиру гениального маэстро, чтобы благодарно пожать ему руку.

* * *

...Наконец-то я увидел мою снежную деву, в чем мама ее родила. Целое бесконечное мгновение я впивался взглядом в ее тело. Предчувствия не обманули меня – она совершенна. Тонкая кость, в каждом движении запаздывающая грация, как бы передающаяся волной от бедер к подбородку, от ступней к коленям, от тонко заштрихованного лобочка до небольших, исполненных нежного достоинства грудей. Как всегда серьезно-печальная, она разделась прямо на моих глазах и пошла в ванную, я же, наслаждаясь вслед легкими вздрогами ее розовых, каких-то по-детски беспомощных ягодичек и любимой мною родинкой под левой лопаткой, уже полез за своим началом, как вдруг откуда-то сверху проскрежетал мужской голос, полупьяный, дурной и опасно-агрессивный:

– Ты что, падла, там делаешь?

Я всегда готов к неожиданности, но тут растерялся.

– Я тебя спрашиваю, падла?! – И возле моего уха, посвистывая горлышком, пролетела бутылка.

В другой раз я бы выдал что-нибудь типа „сигнализацию на окнах починяем, „Дельту“ ставим, антенну меняем“, но тут, поскольку еще секунду назад я витал совсем в иных мирах, меня словно заклинило, и я судорожно, предательски-торопливо, как ночной вор и разбойник, стал спускаться. Тут рукой я услышал, что моя веревка агонизирующе звенит и, подняв голову, увидел в тусклом свете, льющемся из окна, что мужик перерезает ее. А до земли оставалось еще восемь этажей. Каким-то сверхчутьем я понял, что вразумлять оппонента поздно и что у меня остается не больше пяти секунд, чтобы сохранить себе жизнь. Рывком я передернул рюкзак себе на живот, рывком вынул из него свой верный якорек-кошку с аварийным запасом веревки, запустил его на ближайший балкон и запер веревку в горле рюкзака. Тут же я стал падать, обгоняя не долетевший до меня перерезанный конец, но сердце мое билось ровно, потому что через секунду меня сильно тряхнуло и я повис двумя этажами ниже. Далеко наверху маячило сероватое пятно – это мужик онемело смотрел на меня, видно, плохо соображая.

К сожалению, мы наделали много шума – я услышал, как скрипнув, открылась дверь на балкон, за перила которого я уцепился, и еще одна физиономия – женщины в ночных бигудях – зависла надо мной. И тут же раздался ее ярый вопль: „Воры! Воры! Милиция! Воры! Степан, звони в милицию!“

Степана я уже не видел и не рассчитывал на его адекватность происходящему – милиция придет через пять минут. Я ослабил зажим на горле рюкзака и плавно заскользил по веревке вниз, как паук, выпускающий из себя паутину. Увы, в таких случаях я оставляю улики – царапины на стенах, обрезанные концы, сверхпрочную кошку из космического сплава... Ничего не поделаешь – это, так сказать, плановые потери. Хуже другое – теперь на этой стене мне лучше не показываться... На полгода – разговоров и проверок. Наша правоохранительная система замечательна тем, что никого и ничего не охраняет, но вслед любит распушить пальцы веером, демонстрируя замечательную боеготовность.

Через три дня, любопытства ради, я прошелся под вечер мимо того дома – так и есть, напротив подъезда стоял милицкий „уазик“... Раньше всем нам привычно было думать о вооруженных людях, состоящих на службе у государства, как о высоких профессионалах, тем более что их подвиги были многожды воспеты в соответствующей литературе и в масс-медиа, но вот вместе со свободой слова настали времена постперестроечной смуты, и оказалось, что эти самые вооруженные службы даже в самых что ни на есть штатных ситуациях беспомощны, как телята... Вот уж кого я не боюсь, так это их. Любой забулдыга, по своей русской непредсказуемости, для меня гораздо опаснее.

Мне тридцать лет, но я не знаю, как жить дальше. Кроме стены и чужих окон, у меня ничего в жизни не осталось. Сначала у меня отняли отца, потом детство, потом мать, потом мою первую юношескую любовь. У меня всегда отнимали то, чему я отдавал душу и сердце. Ее звали Регина – она была из Риги, и тоже училась в Вагановском, на два класса младше, как раз у отчима и моей матушки. Она жила в интернате училища, но часто бывала у нас дома. Мы с ней не раз выступали в детских массовых сценах в „Щелкунчике“ и „Спящей Красавице“. Небольшого росточка, легкая как пушинка, она говорила всегда с улыбкой, украшая ею свой певучий латышский акцент, и выглядела словно младшая сестренка Синди Кроуфорд. Она была как бы под попечительством моей семьи, потому что ее разведенные родители были заняты собой и своими новыми семьями, и в Ригу она возвращалась не к ним, а к бабушке. Я впервые поцеловал ее, когда ей было пятнадцать лет. А еще через два года произошло то, что будет терзать меня до конца моей жизни.

Были зимние каникулы, и всех распустили по домам, в училище остались только те, кто был занят в новогодних детских спектаклях – в Мариинском театре и на других площадках города. Как и договаривались, я должен был зайти за Региной после репетиции, но дверь в танцевальный класс оказалась закрыта изнутри, и сам не знаю, почему, я не стал стучать, а вдруг опустился на колени

и приник к замочной скважине. То, что я увидел, навсегда сделало меня другим. Я увидел своего могучего отчима – он стоял почти спиной ко мне, выгнув выю, как Приап, на руках на уровне пояса он держал хрупкую девушку – ноги ее, с почему-то вытянутыми носочками, раскачивались вверх-вниз по обе стороны его чресл, руки с полураскрытыми кистями вольно висели к земле, голова была откинута, и светлый хвостик собранных резинкой волос мотался по воздуху. Отчим молчал, работая бедрами, как шатунами, а девушка издавала тихие вздохи, в которых, как я ни напрягал слух, не слышалось ни боли, ни протеста. Потом она сладостно простонала, подалась вперед, подняла голову и, словно пробуждаясь, со слабой улыбкой посмотрела на него – эта была моя Регина. Этот взгляд восхищения и робости и еще чего-то, какого-то спокойного расчета, сказал мне больше, чем все остальное. Затрясшись, как заяц перед смертью, я на цыпочках отошел от двери, ничего не видя перед собой, кроме какой-то белой завесы, затем обозначил каблуками деловые шаги, подошел, дернул ручку и деловито постучал.

Отчим почти сразу, насколько ему позволяло расстояние до двери, открыл ее. Регина стояла возле станка, подняв на него левый носочек, и делала растяжку. Она приветливо махнула мне рукой и продолжала свои упражнения, как бы решив довести урок до конца. Учитель и ученица стоили друг друга – они вели себя превосходно. Я дождался, пока отчим уйдет, дав ей как бы последние наставления и пожелав нам счастливого Рождества, да, это было шестое января, подошел к двери и закрыл ее на задвижку. Надо сказать, что мы еще ни разу не были физически близки – я считал, что пока не имею на это права, и наши ласки заканчивались не ниже ее девичьих грудок. И хотя я уже знал женщин, с ней я вел себя почти целомудренно, лишь раз или два разрядившись в одежде незаметно для нее во время наших не совсем безгрешных касаний друг друга. Я был уверен, что она еще девочка.

Тогда же, закрыв дверь, я подошел к Регине, стал ее бешено целовать, а потом, схватив за горло, повалил на пол, сорвал трико, которое, оказывается, можно так быстро надевать, тоненькие, запянтанные отчимом трусики, и изнасиловал. Не знаю, сколько это продолжалось – час или два, потому что я кончал и кончал, – а она молчала, непрерывно дрожа и не сводя с меня незнающих глаз. Потом, мертвый, опустошенный, я встал, застегнулся и ушел. А она осталась лежать. Больше мы с ней никогда не были вместе. Теперь, по слухам, она работала в Гамбурге, в труппе городского театра оперы и балета, танцевала заглавные партии.

Да, у меня отняли отца, мать, потом девушку – но я не стал Гамлетом. Я стал маньяком, ходящим по стенам домов аки по полу. Дом для меня – это вертикальная полоса препятствий, которую я сразу же прохожу мысленно вверх... Есть три основных способа лазанья по стенам: свободное, без крючков и страховки, на веревках – в основном, с крыши, – и с помощью вакуумных присосков. Последний способ – самый медленный и неудобный, но в то же время почти универсальный: ты движешься по стене и даже по потолку, как муха или таракан. Один присосок держит мой вес на стене, в зависимости от качества поверхности, максимум две минуты, затем вакуум рычага-поршня нарушается. За две минуты я должен найти другую опору и повиснуть на ней – иначе крышка. Голую торцовую стену двенадцатиэтажного дома я пройду вверх на присосках за пятнадцать минут. Есть у присосков и недостатки – для кирпичной кладки они не годятся.

Я люблю рассматривать старые дома – в центре, но особенно на Петроградской стороне, где в конце прошлого века стали селиться богатые и, следовательно, вкладывать деньги в улучшение окружающей их микросреды. Там много дивных зданий, красивой эклектики и модерна. Я смотрю на них как эстет и как скалолаз, просчитывая выступы и площадки, созданные всеми этими пилястрами, пилонами и антаблементами. Кроме того, многие дома напоминают мне женщин: взойти по стене – это не только преодолеть земное тяготение, но и привычное женское „нет“, заложенное инстинктом природного кокетства и верности своему племени да семейным воспитанием, вкупе с вычитанными из книг глупостями и откровениями подруг. Дома напоминают мне и другое: разные формы женского оргазма – от легких, открытых, в духе барокко, многократных, трепещущих обращенными к небу крылышками, до фундаментальных классических, имеющих долгий, плавный подъем, короткий, но весьма выразительный пик, и столь же плавный спуск. Между ними – целый набор разностильных оргазмических помещательств, занимающих по времени от нескольких минут до нескольких часов. Только с

готикой среди нежной русской половины я так пока и не столкнулся, хотя подозреваю нечто нереидно-вампирическое, на грани жизни и смерти.

Окна, окна, окна... „Вот уж окна в сумерках зажглись. Здесь живут мои друзья, и, дыханье затая, в ночные окна вглядываюсь я“. Приотцовские песенки из моего раннего детства... Если убрать друзей, то все остальное сошлось. Только не спросить мне у покойного песенника Михаила Матусовского, от чего же все-таки у него перехватывало дыхание. Я же, когда еду вечерним троллейбусом по улицам города, просто пьянею от этих окон, от жизни, вершащейся за ними, от сладкой истомы искушения снова исподтишка заглянуть в них.

Я не знал, когда теперь снова увижу свою Снежную Деву, – связь наша была слишком сокровенна, чтобы иметь расписание встреч. Да, ее образ явился мне впервые на Эльбрусе, ранним утром, когда от солнца порозовел снежный восточный склон, и слева, в тени, среди расселин, на голубом фоне нарисовался ее абрис – задумчиво склоненная голова с длинными распущенными волосами. Я замер от счастья и какого-то щемяще провидческого предчувствия, что эта встреча даром для меня не пройдет. Но прошло еще несколько лет, прежде чем я нашел ее во плоти, путешествуя по стенам. И то, что это не мое заблуждение, не трагическая ошибка, вскоре поспешила подтвердить сама судьба, словно ей самой было невтерпех поглядеть на продолжение. Всего лишь через неделю после того позорного бегства со стены, совершенно случайно заскочив в магазин итальянской одежды на Среднем проспекте, я увидел мою Прекрасную Даму. Она обслуживала состоятельную покупательницу, задумчиво держа на плечиках нечто модное, – мысли ее были далеко...

То, что она оказалась продавщицей, не уронило ее в моих глазах, но сделало ее более земной и желанной. И не из-за нашего примерно одинакового по своей никчемности социального статуса – библиограф-продавщица, – а из-за того, что оба мы в таком случае должны были испытывать одинаковое неприятие действительности и, значит, иметь какую-то большую мечту. Она машинально повернула голову в мою сторону и, видимо, прочла в моем лице нечто такое, что снова, уже более внимательно, глянула, и в ее левой брови задрожала досада. Даже несмотря на униформу, она была прекрасна – и прекрасен был гнев, озаривший изнутри ее лицо в ответ на мой настырный восхищенный взгляд. Больше она не оборачивалась – я же, прежде чем уйти, мысленно снял с нее все покровы и областал девичьи груди, персиковые ягодички, родинку под левой лопаткой... Все это было моим и для меня.

* * *

Да, еще о лифтах. Я давно собирался рассказать о лифтах, тем более что они со мной не только наяву, но и во снах, – они переходят из одного в другой, и нет им конца. Лифт – это просто какая-то целиковая метафора подсознания. Ты заходишь, дверцы за тобой закрываются, и тебя куда-то везут, то ли вверх, то ли вниз, чаще вверх, поскольку в животе возникает неприятный холодок – это тебя разлучили с твердью под ногами. Отныне ты заложник высоты, вернее, даже не высоты, потому что она постоянно меняется, а камерного пространства в ней, которое, как пузырек кислорода, выносит тебя, букашку, за пределы твоего „я“. Самое-то забавное, что подобная операция происходит с тобой только во сне, когда ты как бы отрываешься от пуповины, соединяющей тебя с землей-матушкой, и плаваешь себе в своем темном сыром космосе, неизвестно зачем и почему. Чаще – абсолютно незачем, потому что ты не готов для таких высот, тебя там никто не ждет, и ты сам не готов ни к каким встречам, потому всегда один, всегда сумеречен и подспудно тревожен, в ожидании чего-то нехорошего, – такова эмоциональная подоплека этих снов. Впрочем, иногда подъем в лифте напоминает эякуляцию, перемещение оргазмирующей точки из мошонки к головке полового члена, только растянутую во времени и пространстве. Там, во снах, испытываешь выход в как бы чуждое пространство, в тонкий, не обихоженный тобою мир, до которого ты еще просто духовно не дорос. Так ребенка пугает все неизвестное. Мой страх – это моя детская болезнь, и, трепеща во сне, я все же терпеливо жду наяву своего повзреления.

Сам я живу на третьем этаже и обхожусь без лифта. Точнее – обхожу его два раза по периметру лестничной клетки, а то и обгоняю, чтобы доказать вышедшему на третьем этаже соседу из квартиры напротив, что я лучше его, и девушки меня любят.

Только однажды я занимался любовью в лифте. С почти взаимного, между прочим, согласия. Почему почти? Терпение. Все произошло так стремительно, что я сам ничего не понял. Просто была прекрасная белая ночь, теплынь, когда все окна и двери были настежь, и спать не хотелось. Она вошла передо мной в лифт, юная женщина, жиличка с шестого этажа, я вошел следом, и мы поехали. Она, видимо, возвращалась со свидания, благоухала, как цветок, да и в руке у нее красовалась чайная роза. Не знаю, что на нас нашло, но от близости в тесной кабине, сразу наполнившейся нашими молодыми запахами, от полноты чувств, готовых излиться в любом направлении, мы вдруг стали бешено целоваться, и она ужалила меня в губы таким поцелуем, что чресла мои взорвались. Я сорвал с нее крошечные трусики, через которые она сама торопливо переступила своими газельными ножками на высоких каблуках, и вошел в нее – готовую, набухшую сочным желанием. Она тут же полностью отдала мне инициативу, опершись лопатками о стенку и подняв подол своего шелкового платья, то ли чтобы я ненароком не замянул его, то ли чтобы похвастаться своими точеными бедрышками. Она всхлипывала, повторяя на выдохе фонему „а“, которая становилась все тоньше, жалче и отчаянней, но тут над нами прогремел жирный щелчок остановки и дверцы лифта с урчанием распались. Рефлекторно распались и мы. На нас глядела ночная пустота тускло освещенной лестничной площадки – шестой этаж. Дальше был только один лестничный пролет к чердаку. Я уверенно взял ее за руку, чтобы увести наверх и продолжить начатое, тем более что в кармане у меня покоились ее трусики, но она выгнулась в другую сторону, в сторону своей двери, давая понять, что концерт окончен.

– Пойдем! – сказал я. – Всего пять минут.

– Не могу! Муж ждет! – сказала она.

Меня как обухом по голове ударило. Какой муж? А роза? А свидание. А я, наконец? Она что, с ума сошла?

Но она твердила: „муж, муж, пусти“, пытаясь расцепить мои пальцы, сжимавшие ее запястье. Она просто стала сама не своя, будто очнувшись после колдовства. Я подхватил ее на руки и, пряча от нее лицо, в которое она пыталась вцепиться ногтями, поднял наверх, на последнюю лестничную площадку. Еще минуту назад послушная, гибкая, трепетная, как лоза, она превратилась в какое-то скукоженное корневище с цепляющимися за все ногами, и мне никак не удавалось раскрыть ее, чтобы снова попасть внутрь. „Пусти, пусти“, – твердила она, змеей выскальзывая из моих объятий. То, что она не поднимала крика, работало на меня. В какой-то момент мне удалось схватить ее со спины за талию и прижать к себе. Она тут же ухватилась обеими руками за перила, полагая, что я намереваюсь уложить ее на пол, и совершенно не учтя своей более чем уязвимой позиции. Я же, слегка подсев под нее, вставил ей сзади, вставил и прилип, присосался, приклеился так, что никакие силы не смогли бы меня отлепить, пока я не закончу то, что мы начали вместе. Она была рождена для этой позы, которую церковь осуждает, называя „содомитской“ и в которой совокупляется весь животный мир. Опасаясь, что она выкинет какую-нибудь гадость, стукнет мне острым каблуком по ноге, укусит, я, крепко придерживая ее за лобок свободной рукой, за несколько ударов бедер об ее миниатюрную мокрую от сопротивления попку довел себя до оргазма и, чувствуя, как изливается мое бешенство, тихо засмеялся, выпустил ее наконец и сказал:

– Ну вот. Теперь можешь идти к мужу.

Не оглядываясь, роняя из себя капли, забыв у меня свои трусики, она зацокала вниз по ступенькам, обернулась возле своей двери, видимо, считая себя уже в безопасности, и яростно, но тихо и четко сказала:

– Муж с тобой разберется.

– Сначала ты сама с собой разберись, – сказал я. – А то пойдем ко мне. Продолжим.

– Ты продолжишь в тюрюге, – сказала она, вращая ключ в замке и одновременно прислушиваясь к задверной тишине, будто там ее действительно ждали.

Самое удивительное, что у нее действительно оказался муж, и неделю спустя, совершенно неожиданно мы оказались втроем в этом же лифте. Это был, наверно, первый случай, когда я почему-то решил воспользоваться подъемником.

– Подождите нас! – раздался от входной двери молодой мужской голос и затем – торопливые шаги.

Она вбежала вслед за ним, а увидев меня, так и застряла за его спиной, благо, он был на голову выше нас обоих. На третьем этаже ей пришлось посторониться, чтобы выпустить меня. Когда я проходил мимо, она смотрела в сторону, и щека ее, обращенная ко мне, нервно подрагивала. Муж ее, худой, довольно плечистый блондин, ничего не заподозрил и, конечно, ничего не узнал. Зато я узнал, что они здесь не живут, а лишь снимают комнату.

Потом она исчезла.

Однажды я зашел в лифт и не успел нажать кнопку против цифры три, как дверцы сами закрылись, и лифт стал подниматься. Ощущение было пренеприятное, будто он специально меня поджидал. Мы проехали третий этаж, четвертый, пятый, так что у меня зануло в солнечном сплетении, но на шестом лифт остановился и дверцы открылись. Дальше пути все равно не было. Я судорожно выскочил, как из ловушки, постоял на лестничной площадке, посмотрел вверх, где мы провели несколько сумасшедших минут, и расслабившись наконец, отправился пешком вниз.

Видимо, здесь еще блуждал неугомонившийся дух того нашего оглушительного соития.

* * *

Мне жалко женщин, которые прошли через меня. Будь у меня дочь, и знай я, что ей встретится маньяк, подобный мне, я бы опередил ее, бегущую к нему на свидание, чтобы завязать поганый его конец морским узлом, лучше двойным, если хватит длины. Все молодые мужчины, если они, конечно, мужчины, – маньяки по отношению к женщинам, и у каждого из них на совести не одно преступление. Мое отличие от них лишь в том, что я называю вещи своими именами и в реальности проделываю штуки, на какие большинство способно лишь в бреду самообслуживания. Не помню, говорил ли я уже об этом, но я не люблю мужчин. Они представляются мне лишь семенным фондом – в этом их единственная ценность и относительный смысл. Относительный – потому что я не знаю, как относиться к тому, что мы еще существуем на земле, и судный день для нас не настал. Все же остальные прерогативы мужчин – войны, политика, спорт – от лукавого. Взгляните на их дела со стены, с северной стены Джомолунгмы или с южной стены Монблана, да что там – с высоты Красноярских столбов – и вы увидите суету сует и всяческую суету, которая ежедневно преумножается. А наука, а искусство? – спросите вы, – как с этими эманациями мужского начала? Это игрушки, – отвечу я вам, – дьявольские игрушки праздного невостребованного ума. От них никому еще не стало и не станет легче. Помните? – „И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все – суета и томление духа!“

И дух этот мужской, добавлю я от себя.

В юности я возмущался Толстым, который отвергал Шекспира, – как я теперь его понимал! Да, даже ваш драгоценный Шекспир и иже с ним, несть им числа, – это лишь томление духа, но такое же томление и сам Толстой – разве не оттого он пытался сбежать в свою Пустынь.

Женщины – не томятся, они живут естественно, как природа, их дух растворен в ней, потому и лишен творческих поползновений. Творить – это испытывать боль и неудовлетворенность Сущим. Оставим это Творцу, тем более что он и сам недоволен сотворенным и пытается спихнуть ответственность на некоего Князя Тьмы. Если так, то чьи же мы дети? Неужто каждый из нас – маленький темный амбивалентный оборотень, пестующий свою неугомонную вождедеющую плоть? Неужто никто меня в этом не разубедит?

Я оглядываюсь вокруг и вижу одно и то же – тьмы и тьмы носителей похотливого мужества, озабоченных им как заглавным вечным вопросом бытия. Ради них, этих четырех жалких секунд эякуляции, затеваются войны, крушатся государства, совершаются великие грабежи и неподдающиеся разумению убийства, ради них казнят и идут на казнь, милуют и насилуют, ради них весь этот блеск и вся эта нищета, – и именно потому это радение тщетно. Иногда я кажусь себе человеком из предыдущей цивилизации, настолько мне смешны нынешние запросы и ориентиры. И весь мир для меня как на картине Альтдорфера из Мюнхенской пинакотечи – помните – битва Дария и Кира: муравьиные полчища воинственных безумцев, а над ними вечные¹⁹ горы, а над горами вечный непостижный космос небес.

Предыдущая цивилизация, по Нострадамусу, – это атланты, и у меня нет причин ему не верить. Психическая энергия, которой они обладали, была несравнимо мощней нашей. Они погибли, потому что не смогли удержать ее внутри и обратили вовне – на разрушение. Такова и наша участь. Уже доказано, что в космосе болтаются обломки старой Галактики, существовавшей до возникновения нашей. Выжившие потомки атлантов живут среди нас. Иногда мне кажется, что я один из них.

* * *

Ее звали Ларисой. Такое вот дурацкое имя. Кстати – „чайка“ в переводе с греческого. Нечто неугомонное, реющее над морем, стройное, легкокрылое, в меру хищное и с довольно противным голосом. Впрочем, голос у нее был вполне благозвучный, разве что ломкий, когда она волновалась, лик же – утонченный, нерусский. Утонченность лица, как известно, определяется формой носа. Так вот, нос у нее был замечательный – тонко вырезанные ноздри, ахматовская горбинка... Никакой тебе гиеноподобной курносости, пришедшей к нам, видимо, со стороны финно-угорской чухны. Шапка тонких, но густых, мелко-вьющихся волос рыжевато-каштанового тона, подстриженных в форме модного тогда короткого каре. Брови с нежным изломом. Глаза карие, кожа белая, рот безвольный – две мягкие покусанные губки.²⁰ Когда я с ней познакомился, ей было восемнадцать, а мне двадцать пять, она была девственницей и невестой на выданье. Озабоченность кипящими в ней юными соками выражалась в довольно идиотской манере поведения – со множеством всяческих сменяющих одна другую поз и смешков, поднятием бровок и закатыванием к небу глаз по каждому приводящему поводу, а то и без того. У нее были поразительной красоты фигура, великолепные груди, почти большие, но как бы остановившиеся на пороге чрезмерной величины, дабы не потерять своих классических объемов. Впрочем, у женских мраморных торсов грудь все-таки стыдливо преуменьшена, обесчувственна на потребу скопидомки эстетики, которая вечно ворчит на естественный избыток красоты.

Но я забегаю вперед, ибо форму и жар и отзывчивость этих грудей я познал неделю спустя после нашего знакомства, состоявшегося в библиотечном коллекторе Публички, куда она, Лариса, студентка второго курса библиотечного техникума и сотрудница заводской библиотеки, приехала за новыми поступлениями. Это было мгновенное узнавание, потому что я тут же почувствовал ее безадресный зов, а она – что я готов на него ответить. Бывают такие встречи – они не имеют ничего общего с тем, что называется любовью с первого взгляда. Это не любовь и даже не страсть с первого взгляда, – всего лишь зуд, который посильней любви, пока себя не накормит. Потом он, как правило, исчезает, но иногда, довольно редко, может перерасти в любовь. Откровенно сказать, я не знаю, что было между нами. Наваждение, борьба, зависимость, месть? Судите сами.

Было начало июля, и город задыхался от жары. В ее библиотеке тоже было душно и жарко, и обеденный перерыв мы проводили в единственном укромном местечке на Московском проспекте – на кладбище за бывшим Новодевичьим монастырем. Там похоронено немало некогда известных людей, и при взгляде на их полуразбитые, запущенные, а то и загаженные могилы, в голове начинает вертеться банальное: „Так проходит земная слава“. Впрочем, есть там и ухоженная

¹⁹ мои!

²⁰ ею же самой – знак нервической неуверенности в себе

могила певца тяжелой женской долюшки Некрасова, хорошего, не отрицаю, поэта, но барина по судьбе и бабника по духу. „Вчерашний день в часу шестом зашел я на Сенную – Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни стопа из ее груди – лишь бич хлестал, играя. И музе я сказал: Гляди, сестра твоя родная“. Не скрою, до сих пор меня волнуют эти строки, но вовсе не квашеной своей моралью – плевать мне на некрасовскую музу, которую разве что он сам мог выпороть, – меня волнует та молодая крестьянка, которая молчит под бичом. За что ее наказывали – за воровство, неверность? Конечно, за неверность, за прелюбодеяние – в ней, тайной своей страсти, черпает она силы нераскаившегося молчания, ей же сочувствует поэт-помещик, испортивший в своей деревеньке, чай, не одну девку, на нее же садомазохистски взирает толпа зевак, злорадствующих, но еще больше – с каким-то тревожным вздрогом в нижней части чрева завидующих этой молодой женщине, познавшей что-то такое, что они не познают никогда. Ее молчание возвышает ее над толпой и над поэтом, который не может хотя бы в такую минуту забыть эти свои бесконечные таски с обрыдшей музой.

Так вот на целый месяц кладбище стало местом наших свиданий, где я шаг за шагом преподавал еще совершенно неискушенной Ларисе науку любви. Вернее, искушенной на уровне детского сада, где, уведя ее в кусты, какой-то маленький предприимчивый мальчик показывал ей свой крантик, даже не прося ничего взамен. Времени для преподавания было в обрез, может, поэтому мы продвигались так медленно и неуспешно. Первые двадцать минут я ласкал ее всеми известными мне способами, вторые двадцать минут она разряжала мое возбуждение. Потом мы разбегались по своим работам – ей было недалеко, мне же еще двадцать минут на метро до Публички. Вообще кладбища мало приспособлены для любви, не говоря уже о полноценном коитусе. Такого у нас и не было, так как ни разу нам не удалось найти относительно чистую горизонтальную площадку размером метр на два – ее, как известно, достаточно не только для похорон, но и для зачатия новой жизни. Впрочем, площадки метр на метр были – всякие там небольшие обезглавленные надгробия и тополиные пеньки – сколько их, этих бедных мусорных тополей ни срезают, все равно в июле город задыхается от их сперматозоидного пуха.²¹ Да, таковые площадки были, но было и другое – боль, которую Лариса испытывала каждый раз, когда я пытался продвинуть свои ласки дальше и глубже. Дальше боли было нельзя. Сделать же очень больно я не решался в силу собственных, не совсем понятных мне комплексов. Я, кажется, уже признавался, что не выношу разрывать девственную плеву. И не потому, что страшусь вида крови. Нет – я просто не могу причинять физическую боль. Душевную – это сколько вам будет угодно. Впрочем, я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. А дело в том, что своим рождением я чуть не отправил на тот свет свою матушку. Вот кому я причинил первую невыносимую физическую боль. Потом, когда я вырос, она мне рассказывала, что у нее не вышел послед, и врач вытащил его сам, до локтя обмазав руку йодом.

Итак, в очередной раз устав от попыток хотя бы приоткрыть ее заветное оконце с теплыми нежными створками, я доставал свой подберезовик и вручал его Ларисе. Она честно не знала, что с ним делать, я же был далек от того, чтобы навязываться ей. Брать в рот без предварительной варки в слегка подсоленной воде – ни-ни! К этому женщина приходит сама или не приходит вовсе. Сыроедение – это ее внутренний выбор. Хотя естественно, что в сыром виде лучше сохраняются витамины и всякие там калории и белки. Одни говорят, что это для них диковинный плод или фитиль, другие просто чувствуют ротом лучше, чем вагиной, третьи, как дети малые, тянут в рот что ни попадя, четвертым важно, что это не их берут, а они сами, переходя из пассива в актив, из феминиума в маскулиnum, пятым важен сам феномен наполненности ротовой полости, будто и вправду идеальная женщина – это метафорическая пустота ожидания, но ни одна не согласится, чтобы ей сунули это в рот насильно, как ложку ненавистной перловой каши, – ничего кроме позыва к рвоте это не вызовет. А я хотел, чтобы Лариса мной наслаждалась. И вот я давал ей свой то подберезовик, то, в зависимости от настроения, боровик, и она, рискуя отломить ему головку, так или иначе доводила меня до эякуляции. Однажды мы забрызгали ей платье,²² и тогда я

²¹ помните у Пастернака – „в аллеях подобьем разврата колеблется пух тополей“ – согласитесь, какое-то девичье восприятие...

²² совсем как Клинтон – Монике Левински

предложил оборачивать его носовым платком, угрюмо наблюдая за тем, как Лариса мнет и гнидит эту маленькую кукольную мумию. Похоже, что к члену моему Лариса оставалась индифферентной и не очень понимала свою роль в происходящей возгонке паров. Однажды, когда я со стонами претерпел свое очередное семьяизвержение, Лариса, раньше положенного прервав экзекуцию,²³ отдернула руку и расплакалась. В общем, для обоих нас это была действительно пытка. Но нам хотелось быть друг с другом, и от одного соприкосновения наших тел по-прежнему возгоралась искра и наэлектризовывалась плоть.

Видимо, желая продвинуть дело дефлорации, о необходимости которой она то и дело заводила разговор, Лариса как-то позвала меня на дачу к своей бывшей школьной подруге. Подруга ее оказалось мелкой задорной пацанкой, коротко стриженной, в юбке-коротышке, груди под кофточкой – как два пинг-понговых шарика, ноги – лягастые, как у юного, еще не набравшего веса лягушонка. При том они с таким широким расставом входили в испод коротенькой юбочки, что было непонятно, как они вообще ухитрились там соединиться в положенном месте. Маша – так ее звали – еще год назад освободилась от бремени девичества, но, со слов Ларисы, до сих пор при сношении испытывала боль, – эта излишняя информация, видимо, и отягчала наши и без того усугубленные проблемы.

И вот мы с Ларисой расположились в нижней комнате на обширной кровати Машиных родителей, которые приезжали на дачу только в выходные, а Маша ушла коротать время наверх.

Лариса была прекрасна – стоять перед ней на коленях и разглядывать все ее восемнадцатилетние яства было эстетическим наслаждением, приятно было и вылизывать ее всю, как корова – новорожденную телочку. Но стоило мне приступить к главному действию, как Лариса впадала в ступор, тело ее деревенело, и сжавшись вся, как в кресле стоматолога,²⁴ она с ужасом глядела на занесенный над нею бур, готовый пронзить ее ослепительной болью. И вот, усталый, выпотрошенный и даже не разрядившийся с ее помощью,²⁵ я, терпя ломоту и тяжесть в мошонке и простате, кое-как нацепил на себя джинсы и пополз на кухню за спичками, поскольку адски хотелось курить. И еще материться. Заслышав мою возню, спустилась и Маша.

– Ну как? – с притворной солидарностью спросила она, вежливо, двумя протянутыми пальчиками вытягивая у меня из пачки сигарету. Впрочем, ей было неловко, и в глаза мне она старалась не смотреть.

– Плачет, – сказал я.

– Надо было поаккуратней, – назидательно сказала она.

– Аккуратней некуда, – сказал я. – Ничего и не было. Она боится. Одно дело, я бы не мог. Но у меня до сих пор стоит...

– Может, слишком большой? – с уважительной опаской сказала она.

– Нормальный, – сказал я, – среднестатистический.

Я был так подавлен и расстроен, что в тот момент чуть не продемонстрировал его, хотя у меня даже в мыслях не было поиметь Машу в порядке компенсации за наносимый мне моральный ущерб.

– Ну я от вас умираю, – вскочив, сказала она и пошла в комнату делать Ларисе внушение.

²³ не путать с эякуляцией

²⁴ в гинекологическом – она еще не бывала

²⁵ настолько уже и это было не актуально

Последняя наша попытка совершить желаемое имела место опять же при участии нашей сводницы Маши, на сей раз в ее городской квартире. Мы, голые, легли, и все повторилось, и тогда я, привстав над Ларисой, размахнулся и, наверное, от полного своего бессилия и маразма, ударил ее тыльной стороной ладони по лицу, сказав какую-то фразу или какое-то слово, которое мне почему-то не вспомнить. Скорее всего, это было грубое слово, произнеся которое, я встал, быстро оделся и вышел из квартиры под молчание Маши, в шоке застывшей у входной двери. Лариса так и осталась лежать – закрыв глаза рукой и забыв прикрыть свою великолепную грудь. Не помню, чтобы в тот момент мне было ее жалко. Это потом, позднее, меня пронзило стыдом от собственной жестокости и жалостью к ней, виноватой лишь в том, что выбрала меня, психопата, своим первым мужчиной.

Прошел месяц. Лариса мне не звонила, хотя почему-то именно ее звонок я и ждал. Позвонить самому, извиниться – это было выше моих сил, я считал, что прощения мне нет, кроме того, какая-то бесовская гордыня нашептывала мне, что это еще не конец и что наше последнее унижение, нет, уже не наше, а только ее, Ларисы, еще впереди.

В начале сентября в погожий темный вечер, когда ветер был еще тепел и зовущ, я впервые отправился к дому, где жила Лариса. Позвонить по телефону я не решился, считая, что звонком все загублю. Я ехал наобум – это был жест отчаяния. Укоры совести, приступы раскаяния замучили меня окончательно, кроме того, в этот месяц я почувствовал, что, кажется, люблю Ларису. Я думал о ней непрерывно, постоянно. В моих мыслях она была прекрасна. Тело ее светилось передо мной каким-то божественным облаком, и я просто не понимал, как мог я так жестоко с ней обойтись. Я с восторгом вспоминал ее девичьи груди, между которыми можно было бы так сладко кончать, я вожделел к ее телу, мечтал о нем, я даже разработал целый план наступления – для этого я изучил специальную литературу и считал, что подготовлен теперь как космонавт, выходящий в открытый космос.

Их квартира оказалась на первом этаже добротного „сталинского“ дома – подняв руку, я доставал до оконного карниза, и это показалось мне хорошим началом. Я встал возле двери и прислушался. За ней было тихо и пахло сдобой. Этот теплый вкусный запах домашней выпечки настроил меня на мечтательно-лирический лад, и я решил, что все будет хорошо.

Открыла сама Лариса – открыла и испуганно выскочила на площадку, прикрыв за собой дверь:

– Ты что? Мама дома, – быстрым солидарным шепотом проговорила она. Ни слова укора, ни тени осуждения в глазах – будто мы только вчера разомкнули нежные объятия. Она была в тонком шелковом халатике, в глубоком вырезе которого дышала под тонким кружевным лифчиком ее несравненная грудь с запахом какого-то экзотического фрукта, может быть, фейхоа. У меня даже голова закружилась от ее близости, желанности, а еще больше оттого, что я прощен, вернее, даже не осужден, и, выходит, напрасно промучился весь этот месяц. И я сказал:

– Люблю тебя, хочу тебя.

– Я тоже тебя хочу, – сказала она, спокойно, нежно, уверенно, со всей выстраданностью нашей тридцатидневной разлуки.

– Ты ведь одна спишь? – спросил я, зная, что у нее своя комната. – Не закрывай окно, я ночью приду.

Она торопливо кивнула, то ли соглашаясь, то ли чтобы побыстрее закончить разговор, потому что из коридора раздался женский голос:

– Ляля, кто там?

– Это ошиблись, мама! – с досадой крикнула она за спину, мне же тихо добавила: – Приходи, отца не будет. У него ночная смена.

Я нежно и страстно сжал ей руку и шагнул назад, в темноту.

– Кто, говоришь, там? – еще ближе раздался голос матери, и уже за поспешно закрываемой дверью я услышал раздраженный, на высокой ноте, ответ Ларисы:

– Я же сказала – никто! Дверью ошиблись! Сколько можно повторять!

О, материнское сердце – все-то оно чувствует.

Выскочив в едва освещенную темноту двора, а окна ее квартиры выходили во двор, я вдруг сообразил, что не знаю ее окна. Спросить по телефону? Тогда мать уж точно что-то заподозрит...

Во дворе никого не было. Возле мусорной цистерны шастали коты, из раскрытых светящихся окон доносились звуки музыки, в некоторых, полупомерклых, подрагивало голубое свечение телевизионных экранов. Десятый час, программа „Время“... Словно отвечая на мой вопрос, за одним из окон качнулась фигура Ларисы, шевельнулись белые тюлевые занавеси, ее лицо, приблизилось к стеклу, глянуло в темноту двора, словно пытаюсь определить мое местонахождение. Я помахал ей рукой, полагая, что меня видно.

Часов до двенадцати делать здесь было нечего, светиться же в одиночестве на скамейке мне не хотелось, и я отправился в город. Везде былолюдно, раскованно и по-русски грубовато, этакая пьяненькая грязца, бесконечное пиво здесь и там, крикливая молодежь, которой я себя уже не ощущал, – горожане догуливали последнее тепло.

В двенадцать я вернулся во двор. Окна Ларисиной квартиры были темны. Я посидел на лавочке и, пока курил сигарету, оценил сопутствующие мне обстоятельства. А они действительно сопутствовали. Ближайшая к дому жалкая лампочка на столбе не мазала светом мою стенку, и едва ли кто заметит, как я проскользну по ней. Докурив и допив джин-тоник,²⁶ я встал со скамейки и подошел с заготовленной дощечкой к стене. Окно надо мной было действительно полуоткрыто, хотя и занавешено. Я приставил дощечку к стене, оттолкнулся от нее ногой и уцепился пальцами за нижний выступ фрамуги. Из окна веяло сном. Стараясь, чтобы рамы не стукнули, я спустился с подоконника, вглядываясь в едва различимые очертания ночной комнаты. Широкая кровать, ночной столик, спящая Лариса – лицом к стене, калачиком. Я подошел и тихо, чтобы не испугать, тронул ее бедро – самую высокую точку округлой снежной вершины – так выглядят ночные горы под лунным светом. Она не проснулась. Дрожь волнения унялась, я спокойно разделся донага, откинул легкое одеяло, лег рядом и прижался к ее обнаженным ягодицам – она спала голой. Ее плечи вздрогнули, она с сонным вздохом повернулась ко мне, словно инстинктивно положила руку на мой еще не разбуженный орган, перекрыла своим бедром и прошептала заплетающимся от сна языком:

– Ты уже вернулся. А я димедрол выпила. Умираю, спать хочу, – и тут же ровно задышала мне в ухо, щекоча мне щеку своими тонкими густыми волосами.

У нее был странный надтреснутый голос, она как-то по-другому пахла, и вообще была другой. Не шевелясь, а только скосив глаза, я посмотрел на ее слабо обозначившийся во тьме лик, в глубоких черных тенях, и чуть не вскрикнул от ужаса. Это была не она. Вернее, она, но лет на двадцать старше. Это была ее мать.

Первым моим импульсом было желание бежать не глядя. Но шок прошел, и лежа рядом с этой спящей женщиной, я сообразил, что никто не мешает мне уйти тихо, без шума, а может, и вовсе не надо уходить, по крайней мере, в данную минуту, когда ее рука так хорошо лежит на мне, так ласково и безоглядно, так нежно и простодушно, как на любимой игрушке, которую еще с детства привыкли брать с собой в постель. Видимо, здесь любили друг друга, и это ложе было ложем растянувшихся на многие годы радостей, так что даже я, сексуальный бомж, почувствовал накапливающие слезы умиления. Самое удивительное, что в те стремительные минуты я ни разу не подумал о Ларисе, она вдруг как бы исчезла, заслоненная своей матушкой, – и мне было почти все

²⁶ скоро я окончательно брошу и пить, и курить

равно, что там происходит с ней, бедной Офелией или Жизелью, собирающей водяные лилии на ночном озере своих русалочьих упований.

И тут мой орган толчком встал и затрепетал от нового, еще не испытанного мною вожделения. Закройте глаза пуритане, ревнители постной нравственности, блюстители пресной морали, порвите с негодованием эту страницу, наберите номер телефона в Государственной Думе, Совете Министров, но лучше всего – в Комитете по охране детства и материнства, и донесите на меня, ибо я хочу то, чего хотеть нельзя – собственную мать, а если нельзя собственную, то просто – мать, пусть это будет мать моей бедной подружки, которая ведь когда-нибудь тоже станет матерью, чтобы я ее наконец захотел, как я хочу ту, которую нельзя, потому что нельзя никогда... Потому что это NEVERMORE, этот вороний карк, и есть именно то, чего я хочу и с чем никогда не смирюсь, слышите?!

Я осторожно освободился от руки, смиренно, неведующе лежащей теперь рядом с моим вздыбившимся желанием, от этого шелкового, тяжелого, не слишком упругого, скорее податливого бедра, которое успело пригреть меня так, что я почувствовал здесь свою надобу. И неважно, что меня принимали за другого, неважно, что любили не меня, – это все неважно, потому что в конечном счете именно я тут любил, был внутри, растворялся, плакал, вспоминал, воспарял и падал, чтобы снова воспарить. Она была похожа на осеннюю осиную рощу, тронутую первым инеем, который, растаяв под солнцем, омыл влажным блеском всю эту трепещущую листву, – да, трепет, шелест, вздох и невнятное горловое „о“, словно голос горлицы издали, из-за желто-оранжевых крон, за которыми словно ангелы-хранители стоят синие сосны. Нет, она так и не проснулась, она отдалась во сне, как умеют лишь немногие, и мое счастье едва ли длилось дольше двадцати пяти минут – по числу данных мне лет в этой жизни, но это были лучшие минуты, лучшие, я повторяю это слово, каких больше не было никогда, да и быть не могло, потому что такие обстоятельства не повторить, – они случаются по провидению божьему, по его замыслу, лишь раз в жизни, чтобы мы хотя бы однажды могли понять сами себя, определить свои горизонты и масштабы, увидеть свои чувства отраженными в зеркале вселенной и обрести наконец свое жалкое забитое „я“, загнанное этими дуроломами типа Фрейда в самые темные штольни нашего подсознания.

Только однажды она вдруг резко открыла глаза, словно пытаясь рассмотреть меня в темноте, но тут же бессильно закрыла их, тихо благодарно пробормотав: „Какой ты нежный сегодня“.

Прошло еще полгода, и Лариса мне позвонила. Сказала, что у нее жених, что она через месяц выходит замуж и что „это“ оказалось не таким уж и болезненным, просто мне надо было быть порешительней. Еще она сказала, что по-прежнему мечтает переспать со мной. Я согласился. В назначенный день я пришел на ту же Машину квартиру, Лариса разделась и первой легла. Я уже снял с себя брюки, поглядел на нее, лежащую в позе начинающей жрицы любви, снова оделся, сказал ей: „Прости меня“, – и ушел.

Не думаю, что она меня простила.

Кстати, о Некрасове.

Помните?

Поздняя осень. Грачи улетели.

Лес обнажился, поля опустели.

Только не сжата полоска одна,

Грустную думу наводит она.

Дальше там какая-то ботва про тяжкую крестьянскую долю.

Концовка же здесь, в четвертой строке.

Это я, бедный пахарь, с ущемлением сердца вспоминаю иногда о своей несжатой полоске, которую звали Лариса.

Ночь четвертая

В магазин я больше не навещал, чтобы не наращивать явно отрицательное впечатление от своей персоны. Лишь на бегу, под вечер, когда витрина была освещена, а лица пешеходов сливались в одно лицо, я задерживался на тротуаре, словно поджидая автобус, и украдкой выискивал в освещенных глубинах магазина ее милый абрис. Но прошло еще две недели таких, почти ежедневных, мучительно-неполноценных встреч, прежде чем я решил снова отправиться на свидание к ее окну на двенадцатом этаже.

Наверху меня ждало разочарование – ход на чердак был перекрыт новой стальной дверью, открыть которую я не мог. Оставался лишь горизонтальный путь снаружи из оконца лестничной клетки, но ее окна были далеко справа: чтобы добраться до них, полагалось или вбивать крюки, что на панельном доме весьма проблематично, или идти на присосках, которых у меня с собой не было. Но я не мог ждать другого случая – жажда видеть мою возлюбленную разбередила мне душу, и я, потеряв еще час, снова вернулся к ее дому, на этот раз вооруженный до зубов. Был час ночи, и я уже не надеялся увидеть освещенным ее окно, но на удивление оно продолжало светить во тьме, будто поджидая меня. Я неслышно поднялся на двенадцатый этаж – к счастью, жильцы не догадались сменить код на входе – и осторожно влез с лестничной площадки на подоконник. Полуметровые двойные оконца оказались накрепко забиты гвоздями и, соблюдая все меры предосторожности, я, провозившись минут десять, втихую открыл одно из них. Пахнуло ночью, ночной свежестью, мокрым парком, дымком ночного костра с берега залива и самой водою. А дом спал, и спали его запахи, его кухни, его кладовки с осенними маринадами, соленьями и вареньями, его платяные шкафы с одеждой, его урчащие холодильники, его прекрасные и безобразные женщины, положившие одну руку под голову, а другую на чресла, спали его обобранные временем мужчины, закрывшие свои тоскливые, растерянные глаза, спали его безумные старики и старухи, его бесстрашные дети, еще не ведающие, что уготовила им судьба, его хлипкие осенние пауки, его равнодушные кошки и беспокойные собаки, – внизу из-под козырька парадной двери на асфальт падал свет, и оттуда внимательно смотрел на меня черный глаз осенней лужи с рыжим, из кленовых листьев, зрачком. Я встал на железный козырек карниза, впившись в него когтистой сталью кошек, прижал к стене присосок на левой руке и движением пальцев перевел рычаг вправо. Чавкнул воздух, и я повис. Вонзив правый носок в стыковочный шов, я чуть приподнялся, ослабив напряжение руки, внахлест наложил правую, пальцами перевел рычажок и повис на двух скрещенных руках. Затем – на одной правой. Единственной моей заботой было – ненароком не задеть стальными кошками за какой-нибудь карниз. Ночь была тихая, тише, чем мне бы хотелось, – только внизу из парка иногда доносился шорох какого-нибудь дерева, затрепетавшего листвой во сне.

Признаюсь, не люблю передвигаться без страховки – это требует максимум внимания, а я по своей природе человек рассеянный, созерцательный. Можно было надеть все четыре присоска – но я бы передвигался вдвое медленнее. Присоски исправно чавкали и прекрасно меня держали – слава богу, не было дождя и стена была сухой. В дождь меня потащило бы вниз... Вот и темное окно ее кухни – форточка открыта. В окне же комнаты по-прежнему свет, и, дойдя до него, я осторожно, сбоку, выглядываю. Она лежит на постели лицом к потолку – глаза ее закрыты. Спит. Сердце мое сжимается от нежности. Я сам не знаю, что будет дальше. Возвращаюсь к кухне, подтягиваюсь, держусь за фрамугу – окно закрыто лишь на нижний шпингалет. Ловлю петлей шнура хоботов и тяну на себя. Открыто.

Я проникаю внутрь, ревниво ловя запахи. Ничего – лишь слабый лекарственный дух, то ли валерьяны, то ли сердечных капель. Кто расстроил мою красавицу? Нервной пантерой, жадно дрожа ноздрями, я крадусь по темному коридору. Дверь в комнату закрыта – под ней яркая щель света. Заснуть при свете? Видимо, очень устала или приняла снотворное. Боясь разбудить ее, я не

тороплю наше свидание. Мне некуда спешить. Впереди у нас целая ночь. Надо сделать так, чтобы она не испугалась – с ней я не могу быть насильником. Я сяду на кухне. Заварю себе кофе, включу приемник на ультракоротких волнах с какой-нибудь ночной музыкально-эротической программой, где между музыкальными оттягами ведущая под украденной кличкой Шаде разглагольствует о преимуществах орального секса. От телефонных звонков возбужденных ночных слушателей не будет отбоя. Я сяду спиной к кухонной двери – она войдет и строго спросит: „Кто вы такой? Что вы здесь делаете?“ Тогда я медленно повернусь к ней, опущусь на колени и протяну пурпурную розу, похожую на мое бедное сердце. Я купил ее сегодня вечером и хранил в рюкзаке в специальной трубке, чтобы ненароком не сломать на стене. Она будет говорить: „Уходите, я вас не знаю“, а я буду молча протягивать ей розу, другую же руку на рыцарский манер прижимать к груди. Моя покорная робость в конце концов тронет ее, и завяжется интрига. „Если вы настаиваете, я уйду, – скажу я ей, – но сначала выслушайте исповедь разбитого сердца. Я впервые увидел вас на Эльбрусе, на утренней заре, окрасившей розовым цветом снежный восточный склон. Вы были Снежной Девой, и ваши волосы...“

Я уже собираюсь приступить к осуществлению своего блестящего плана, но сладкая дрожь в паху неумолимо влечет меня в ванную. Я плавно, без щелчка, включаю в ней свет и прикрываю за собой дверь. И вот я здесь – в светелке ее девичьих сокровенностей. Сияет бело-голубой кафель, благоухает мыльница с розовым дорогим французским мылом, замерли многочисленные нарядные баночки и пузырьки, каждый вечер водящие хороводы вокруг ее шеи, бедер, груди, узеньких ступней с напедикюрными ноготками... Молчит удивленно зеркало, отражая не ее, а мой воспаленный взгляд. Под раковиной пластиковая корзинка для грязного белья. Задыхаясь от предвкушений, я открываю ее, выбираю легкий лифчик с тонюсенькими бретельками и жадно ищу на нем запах ее тела. Но пахнет лишь неизвестными мне духами – слабо и неопределенно. Я ищу трусики, нахожу их, подношу к носу заветную перемышку, где на дополнительной полоске мягкой ткани можно всегда найти хотя бы одно интимное, пряное пятнышко от естества, но, увы, моя чистюля не оставляет следов... Впрочем, еще не все потеряно. Я возвращаюсь на кухню, открываю мусорное ведро и копошусь на самом дне среди нескольких исписанных женским почерком смятых бумажек, которые я машинально кладу в карман. Ничего – ни ватки, ни женской прокладки – лишь холодный, пахнущий бергамотом мокрый мешочек чая „Earl Gray“. Ладно. Чем недоступней, тем желанней она мне. Ведь она Снежная Дева. Чем пахнет снег? Арбузной коркой? Облаком? Мечтой?

И в это время я слышу из коридора какой-то неожиданный звук, которого быть не должно в вычисленном мной мире этой ночи, но звук настойчиво повторяется, и, с усилием стряхнув наваждение грез, я осознаю, что это звонит телефон. Сейчас она проснется... Уже проснулась... Удивится, что и на кухне оставила свет. Войдет, чтобы выключить... Я срочно распаковываю свою розу... Но телефон больше не звонит. И я не слышу ее шагов. Уф... Хотя я давно все обдумал, но чувствую, что меня прошиб пот. Значит, я действительно волнуюсь. Редчайший случай. Сам себя не узнаю. Вот что делает с человеком любовь, мысленно говорю я, и, похоже, недоволен собой. Это инстинкт самосохранения сигнализирует мне о том, что я не полностью контролирую ситуацию. А значит, возможно и непредвиденное. И все-таки я, следуя своему плану, нахожу кофе, правда, растворимый, кипячу воду, завариваю, добавляю ложку сахара... Правда, коротковолнового приемника под рукой не оказывается, и я включаю трехпрограммную радиоточку. Льется ночная музыка, я отхлебываю кофе, жду. Снова звонит телефон – это уже становится интересным. Два часа ночи. Кому-то позарез понадобилась моя спящая принцесса. Я снова напрягаюсь – и снова напрасно. Ноль внимания. Еще интереснее. Так она и проспит нашу ночь, а я просижу, как деревенский телепень, на кухне. Хватит, я сделал все что мог, чтобы было как лучше. Теперь будет, как всегда... Резко отодвинув табуретку, я встаю из-за стола, щелкаю выключателем и иду в комнату. Рывком открываю дверь и смотрю на мою деву. Она все в том же положении, в глубоком сне. Голова на подушке, одеяло до подбородка. Внезапно взгляд мой останавливается на огромной черноте незашторенного окна – я, представив свое лицо за ним, чувствую, как у меня по спине бегут мурашки.

Какой ослепительный свет, будто специально оставленный. Ну и сон у нее. Так можно спать только в ранней юности. Я подхожу к ней, нагибаюсь, смотрю на ее прекрасное лицо и вдруг понимаю, что это лицо смерти. Она мертва. Я срываю с нее одеяло, хватаю запястье – пульса нет. Я прижимаю ухо к ее груди, чувствуя щекой ее плотный сосочек – но внутри ее тишина. Я не могу

этому поверить – просто у меня начались галлюцинации. Я хватаю зеркальце с ночного столика, подношу к ее чуть приоткрытым губам, к ноздрям – она не дышит. Там же, на столике, – снотворное. Она приняла слишком большую дозу... Она мертва. Но ведь это невозможно! Мы так не договаривались! Схватив себя за волосы, я смертельно раненным зверем мечусь по квартире. Поздно! Она умерла минимум час назад! Поздно! Никакая самая лучшая в мире команда реаниматоров ее уже не спасет. Я начинаю плакать. Молчаливые слезы льются из моих глаз. Я сижу рядом с ней на кровати и плачу. На ней тонкая сорочка с кружевами на вырезе и на коротких рукавах. Под сорочкой всхолмия груди. Я к ним не успел. Я начинаю плакать в голос. Я снимаю с нее сорочку. Моя Дева еще мягкая, гибкая, тело ее не остыло. На пальчиках маникюр, на лобочке нежная поросль. Я поднимаю ей веки – она смотрит на меня неподвижным взглядом прекрасной куклы. Я раздеваюсь, ложусь рядом, натягиваю сверху одеяло, прижимаюсь к ней. Я согрею ее своим теплом, растоплю своими горячими слезами ледяной комочек ее сердца – оно вздрогнет и снова забьется, моя Снегурочка, моя Спящая красавица вздохнет и скажет: „Здравствуй, прекрасный принц!“. Я опускаю руку и кладу пальцы на ее лобочек. Мне кажется, что он отзывается. Когда я был совсем маленьким и боялся темноты, мама иногда брала меня к себе в постель. Я всегда мечтал об этом, и даже во сне рядом с ней я помнил свое счастье, и еще я помнил, что мои ножки прикасаются к чему-то чудесно живому, упруго-курчавому, нежно щекочущему, как теплый податливый сухой мох в летнем сосновом лесу, куда мы ходили по ягоды.

Нет, я не отдам ее смерти. Она моя. Я снова скидываю одеяло, прижимаюсь лицом к ее лобочку, целую его, потом целую ниже две прохладные карамельки и раздвигаю их языком. Вход в ее юное чрево еще дышит жизнью, там еще тепло, там в вешние дни из куколки снова появится прекрасная бабочка – мы будем летать друг за другом в прекрасном мире эльфов, и пусть этот сон в летнюю ночь никогда не кончается. Языком я увлажняю путь в ее теплые недра и наконец погружаюсь сам. О Господи, как прекрасно! Нежной упругой волной я лгну к ее бедрам, и они отвечают мне. Я закидываю ее руки себе на плечи, шепчу ей на ухо признания и восторги, и невозможным, необоримым вздрогом всего своего естества бросаю в ее темные теплые глубины белую лилию бессмертной любви.

* * *

Откуда-то раздается звон. Погребальный звон. Это звонят колокола на звоннице. И еще – какие-то глухие удары. Это салют в нашу честь. К нам идут. Нас осыпят золотым дождем и лепестками роз.

„Откройте! Милиция!“

Но я не открою. Вскочив, я выключаю свет и, распахнув окно, смотрю вниз. Внизу, под козырьком парадного входа – два задних огня милицейского „уазика“. Там остался один шофер – до того, что здесь происходит, ему нет никакого дела. Я мгновенно одеваюсь.

„Откройте, иначе взломаем дверь!“

Ломайте, ребята. Только не так быстро. Я хватаю на кухне рюкзак, распихиваю по карманам подозрительные бумажки из мусорного ведра, возвращаюсь в комнату, вылезая на карниз и, раскрутив свой верный якорек, бросаю его на крышу. Якорек уцепился за ограду на крыше – веревка упруго вздрагивает, поторапливая меня. Пропустив ее в ручной подъемник, я возвращаюсь к своей возлюбленной, поворачиваю ее на бок, обертываю простыней, ложусь спиной рядом и завязываю на себе концы простыни. Теперь нас снова двое – ее веса я не чувствую, однажды вот так же я поднимал из расщелины на Эльбрусе разбившуюся альпинистку. Она была в связке со мной и поскользнулась на ледяном склоне. Я не смог ее удержать и, чтобы не погибнуть за компанию, расстегнул карабин. Тем более что она сама мне об этом кричала, болтаясь над пропастью. Потом я взялся ее вытащить, но меня все равно дисквалифицировали.

Закрепившись, я с драгоценной ношей осторожно вылезая на карниз и вращаю ручку подъемника. Он рассчитан на двести килограммов, в нас же – чуть больше половины. Моя возлюбленная крепко прижимается ко мне – на этот раз я ее не упушу. Вот и спасительный склон

крыши. Никого. Мы одни. Внизу темное пятно пропасти, а дальше за ней огоньки на том берегу. Нам – туда. Пока же я переносу ее на чердак, кладу возле люка на гаревый пол, хрустящий под ногами как фирн, как утренний горный снег. Снизу из оставшегося открытым окна я слышу возбужденные голоса: „Он где-то здесь!“ Сейчас они побегут вниз и будут прочесывать парк. Потом они вызовут дворника и поднимутся на чердак. Я же тем временем тихо, как осенний паук, спущусь и уйду.

Откуда они знают про меня? Этот вопрос вдруг альпинистской киркой застревает у меня в груди. Кто сказал? Кто видел? Кто позвонил? В поисках ответа я включаю фонарь, шарю в карманах, выгребаю скомканные листочки, дрожащими руками расправляю один. Читаю... Расправляю другой... Это про меня. Про то, что я ее преследую. Что как лунатик хожу по карнизам...

Боже мой, неужели это я ее погубил?!

Снизу раздается фырчание моторов – я возвращаюсь на крышу и выглядываю из-за козырька. Внизу стоят две пожарные машины. Их оранжевые вращающиеся мигалки напоминают мне салют на Неве, новогоднюю елку, праздник, но тут я слышу, как за спиной на чердаке с железным стоном распахивается дверь, и раздается голос: „Он здесь!“. К моей возлюбленной мне уже не успеть. Они разлучили нас. Я гляжу, как вытягивается в мою сторону пожарная лестница с неуверенным человечком в каске на верхней ступеньке, сзади же из чердачного люка высовывается еще один и, направив на меня пистолет, кричит фистулой: „Ни с места! Стрелять буду!“.

Господа, как вы мне все надоели! Я хотел укрыться от вас в горах, потом вы прогнали меня на стену, но и здесь нет для меня места. Я смотрю на огромное черное пятно парка, на огни на том берегу. Я становлюсь на край крыши, расправляю, как крылья, руки и отталкиваюсь, не сводя взгляда с тех далеких огней. Лахта. Ольгино. Лисий Нос.

В Лисьем Носу мы когда-то снимали дачу.

1997, 2004

Санкт-Петербург